



*Сана
Валмулина*

**НЕ
БОЮСЬ
СЫНЕМ
БОРОДЫ**



Роман



Сана Валиулина
Не боюсь Синей Бороды

«АСТ»

2015

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Валиулина С.

Не боюсь Сине́й Боро́ды / С. Валиулина — «АСТ», 2015

ISBN 978-5-17-104851-8

Сана Валиулина родилась в Таллинне (1964), закончила МГУ, с 1989 года живет в Амстердаме. Автор книг на голландском – автобиографического романа «Крест» (2000), сборника повестей «Ниоткуда с любовью», романа «Дидар и Фарук» (2006), номинированного на литературную премию «Libris» и переведенного на немецкий, и романа «Сто лет уюта» (2009). Новый роман «Не боюсь Сине́й Боро́ды» (2015) был написан одновременно по-голландски и по-русски. Вышедший в 2016-м сборник эссе «Зимние ливни» был удостоен престижной литературной премии «Jan Hanlo Essayprijs». Роман «Не боюсь Сине́й Боро́ды» – о поколении «детей Брежнева», чье детство и взросление пришлось на эпоху застоя, – шит из четырех пространств, четырех времен. От ностальгически-акварельного поселка Руха на эстонском побережье в семидесятых годах, где «тишина, только сосны гудят над валунами, как антенны: море транслируют», с загадочным домом, в котором происходят таинственные происшествия, – через Таллинн рубежа семидесятых-восьмидесятых и скрытую жестокость советской школы и Таллинн начала девяностых, на заре «дикого капитализма», с жестокостью явной и неприкрытой, – к нашему времени, несуществующей стране и эпохе-без-перемен.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-104851-8

© Валиулина С., 2015

© АСТ, 2015

Содержание

Книга 1	7
Лето в Руха	7
Смерть Виктора	21
Дом	35
SOS	48
Книга 2	61
Еще не зима	61
Конец ознакомительного фрагмента.	63

Сана Валиулина

Не боюсь Синей Бороды

Посвящаю моим родителям

Все события и герои этой книги вымышлены, любые совпадения с реальностью – случайны.

Книга публикуется по соглашению с литературным агентством ELKOST

Intl.

© Валиулина С.

© ООО «Издательство АСТ»

Книга 1

Черный капитан

BLUEBEARD

Dearest Judith, are you frightened?

JUDITH

No, my flowing skirt was tangled,

Something caught the silken flounces.¹

Лето в Руха

Сначала была капитанская жена, Эрика, с узковатым эстонским прищуром на плотном лице. И сама она была плотная, без всяких там изгибов на прямоугольном теле. Изгибы – это все для городских, что на каблуках колышутся и хвостом виляют, русалок из себя строят, чтоб мужиков приманивать. А у нас тут штормит, песок, валуны и дом большой с верандой, погребом и курами, а еще и мальчишки, – тут не поизгибаешься. А там, глядишь, и свинью заведем, да вот муж не хочет, говорит, некультурно – свинья в таком доме. Ему лучше знать, он у нас по заграницам ездит, а мы и так проживем, без изгибов, чай не Мэрилин Монро.

Капитанша Эрика смеется, мама тоже, но ей не смешно, я же вижу. У капитанши платок на голове, чтобы не продуло, она из бани идет, как и мы. Вот муж вернется из Испании, будем душ ставить, чтоб было культурно, а пока в баню ходим, как и все, мы не гордые.

Руки у капитанши большие, красные и пахнут селедкой. Она в знаменитом колхозе рыбу чистит. Этот колхоз на всю страну прославился своими рыбными консервами. Там у них есть такая радужная форель, они ее сами в прудах своих выращивают, а потом замасливают. Так что, между прочим, капитаншины руки не селедкой пахнут, а радужной форелью. Эту форель все так обожают, что в магазинах ее нет. Форель – она же благородная рыба, а тут еще и радужная к тому же. В магазинах пускай вон кильку продают в томатном соусе. Да перед такой рыбой мужчинам шляпу надо снимать, а женщинам – книксен делать, ну и пускай, что она в банке. Капитанша распяется и уже не смеется, у нее за форель душа болит, а мама улыбается в сторону. Мы эту форель тоже очень любим. Ее надо есть на белой булке с маслом, и никак по-другому. Только дураки и плебеи, которые ничего не смыслят в жизни, едят радужную форель с черным хлебом.

Мы до горки с капитаншей, потом нам налево, а ей прямо через мостик, и дальше всё прямо и прямо, до богатой улицы. Там у них у всех свои ванны в домах, ну и сауны, конечно. Но сауны – это фольклор и душа, а душ – это культура и комфорт. Вот черный капитан из Испании вернется, и будет в капитаншином доме отдельная душевая, как и положено на богатой улице.

Мы в Руха каждое лето ездим. Первого раза я не помню, но тогда, говорят, в июле такая жара стояла, что Белая речка – эта та, через которую мостик на богатую улицу и к морю, – вся высохла, и дачникам негде было белье стирать. И скатерти тоже, которые они специально из города привозят, а некоторые даже из Москвы. А еще все дети голышом по улице бегали.

И второго раза я не помню. Мне тогда два года было. Только вот что-то соленое помню и пустоту вокруг. Соленое – это, наверное, сопли со слезами, а пустота – она как тьма, только не

¹ СИНЯЯ БОРОДАЧто стоишь ты? Ты боишься, свет мой Юдит?ЮДИТНет, за что-то мое платьездесь случайно зацепилось.Бела Балаж. «Замок герцога Синяя Борода»

безвидная. Это мне позднее уже рассказали, что я тогда на пляже заблудилась и долго с ревом бегала голая, пока не нашли мою маму.

А уже потом, точно не знаю когда, вдруг появилась капитанша Эрика, жена черного капитана, что начал строить дом в самом конце богатой улицы. Там, где напротив малина растет за валунами.

– Вот следующий год у нас будете, – говорит капитанша, – а у нас уже душ и унитаз новый чешский, не бледно-желтый, как у Нигулей, а нежно-голубой, и сливной бачок тоже нежно-голубого цвета.

Нигули, хоть и эстонцы, но в новом поселке живут, на Советской улице. У них квартира со всеми удобствами в кирпичном доме. Им теперь в баню не надо ходить.

К ним даже некоторые отдыхающие мыться приходят по субботам, когда в поселке горячую воду дают. Мы, правда, у них никогда не были, мама говорит, у них к нам нет интереса. К ним все больше их друзья ходят мыться, москвичи с московскими консервами, с икрой черной, например, а с нас брать нечего. «Мы не бедные, – говорит мама, – мы интеллигентные. У нас другие ценности, мы не хлебом единым». «Ой, замечталась, нежно-голубая, – смеется капитанша, – а кто огурцы солить будет? Я ведь Нигулей уважаю, но боюсь, они болеть скоро будут, ведь эстонец без земли – это что? На него так вся зараза сразу липнет, даром что квартира со всеми удобствами. Ну что, придете ко мне следующее лето ванную-туалет смотреть?»

Мама кивает, а сама плечами пожимает, не поймешь ее. Но капитанша уже далеко, вот она по горке спустилась, вот по мостику идет, а вот уже по склону поднимается к богатой улице, к дому своему, где черный капитан уже первый этаж кирпичом обложил.

Так что капитанша Эрика появилась в Руха вместе с этим домом, ее из наших никто не помнит и не знает, где она раньше жила, хотя поселок и маленький. А вот черного капитана никто пока из наших так и не видел. А от местных толку мало, у них с капитаном свои счеты, он ведь не здешний, а с острова, где когда-то шведы жили, а теперь пограничная зона. Там кроме шведов еще и мореплаватели когда-то обитали, вот он и решил стать капитаном, а то на суше ему душно и неудобно. Он на сушу приплывает только дом строить, и всегда осенью, чтоб до морозов. А нас уже тогда никого нет, вот мы его и не увидим никак.

«Ну уж, только дом строить, детей же он успел двоих сделать, – это у нас москвичи такие, всё своими именами называют, раскрепощенные, как мама говорит. – Значит, у него и самый главный инструмент работает. Значит, в порядке мужик».

Москвичи вообще всё лучше знают, все-таки в столице мира живут, это уже папа говорит. Они, например, знают, почему капитан черный. «Дак на этом острове шведы жили? Жили. Так вот, это были не просто шведы, а прибрежное шведское племя, там у них какое-то смешение произошло с аджарами в одиннадцатом веке, так что волосы у этих прибрежных шведов цвета вороньего крыла, а что такого? Вон в Грузии мегрелы же живут, рыжие с голубыми глазами. Вот вам и капитан с черными аджарскими кровями. Усекли?»

Мы-то усекли, но, когда мама спросила капитаншу, чтобы москвичам нос утереть, так ли это, та только хмыкнула и московскую версию не подтвердила. Но и отрицать не стала. Так, кроме москвичей, никто и не знает, почему его черным капитаном называют.

Мы когда в дальний лес ходим чернику собирать, то иногда идем по богатой улице. Просто так, для разнообразия, а заодно чтобы на дома их высокие поглядеть, на стены крепкие. Там у них в садах сосны и березы – выше, чем в лесу, а между ними гамаки висят. А еще там каминные кирпичные, на них камбалу копят. И стулья деревянные ленивые с откидными спинками, чтоб эту камбалу есть или загорать. А еще на богатой улице у каждого дома машина стоит. И всегда там кто-нибудь эту машину чинит или моет.

В самой же Руха песок и пыль кругом, и камни, и даже главная улица, Советская, которая, как река, делит Руха на две части, эстонскую и русскую, хоть и заасфальтирована, но все равно пыльная, и в ухабах и колдобинах, и поэтому очень машины портит и пачкает.

«Вот в Финляндии на дорогах ни пылинки, и они у них там как выглаженные, там машине рай, только езжай себе и радуйся, – говорят эстонцы. – И не плюют никто на улице, а все потому, что частная собственность».

А какая малина в садах растет на богатой улице, ее аж за километр видно. В лесу она еще мелкая, кислая, рот сводит, а на богатой улице уже вся соком изнемогает. Вот она ветки свои тяжелые через изгородь раскинула, соблазняет, но мы зубы сжали, терпим, потому что знаем: у кого здесь дом, тот все видит через стены, штакетники и заборы.

Вообще-то богатая улица не очень длинная, но идти по ней дольше, чем по лесу. Это потому, что в лесу все понятно, там все свое дело делают, фитоценоз поддерживают. Сосны на дорогу хвоей бросают и под ноги расстилают, а под соснами муравьи шастают, иглы эти хвойные в муравейники тащат, сверху солнце мох изумрудит и смолу сосновую по воздуху разливает, травы разные и кусты черничные кислород в атмосферу выдыхают, с запада же море шумит, волны свои песчаные на берег гоняет, сушу песком кормит.

А на богатой улице все такое таинственное, превознесенное. И сосны и яблони их величественные, и стулья ленивые, и камин с камбалой, и ноготки и ромашки на клумбах, и даже пустые стаканы, что на деревянных столиках стоят. И сами они и дети их беловолосые, в разноцветных финских колодках и в американских джинсах. Дочки их в розовых брюках клеш на траве в кукол играют, а куклы эти не простые, а тоже американские и надменные, с высокими шеями. Они им маленькой щеточкой волосы расчесывают и наряды все время меняют, чтобы те были довольные.

И ведь ни о чем уж таком таинственном они на богатой улице и не говорят – я ж по-эстонски понимаю – а так, как все люди, в саду между собой перекликаются, чего-то спрашивают, и орут друг на друга, и чихают, и чешутся, и комаров давят, всё как и мы.

С некоторыми мы даже знакомы. Вот, например, Кульюс, он директор школы, где мы отдыхаем, и недавно сюда переехал. Он с мамой всегда здоровается, когда мы мимо его дома проходим. Правда, дом его не совсем на богатой улице, а чуть в стороне, на Пионерской. Он раньше в школе жил, около бассейна, а теперь здесь себе дом строит. Кульюс, когда маму видит, сразу все дела бросает, даже если машину мыл, и бегом к забору. Один раз даже так торопился, что опрокинул ведро с мыльной водой. А мама тогда чуть краснеет, может, ей неудобно, что директор школы в тренировочных штанах и в белой бельевой майке ей у забора рукой машет. Она говорит, что Кульюс порядочный человек и мужчина. Он нам один раз вместо большого класса, где пятнадцать человек отдыхает, маленький класс устроил в школьном общежитии, на шестерых. И раскладушки дал новые, и плитку электрическую поменял, потому что старая плохо нагревалась и на ней яйца не жарились и «Петушок», югославский суп из пакетиков, никак не закипал, так что у нас на зубах вермишель хрустела. И взамен ничего не попросил.

Поэтому, когда мы подходим к Пионерской улице, мама теперь всегда шаг замедляет, чтобы Кульюсу не надо было так бежать. Она ведь вообще-то быстро ходит, бодрым шагом, и нас так воспитывает. А папа еще быстрее, но он в Руха только на выходные приезжает, и то не всегда, он в отпуск один любит ездить.

На углу богатой улицы, у поворота к морю, замдиректора завода себе дом построил. Так у него даже два камин, чтобы гостей принимать, и машины две – себе и жене, а то ей в парикмахерскую не на чем было бы ездить. Дом у них благородного цвета. Платины. Когда он еще был не облицован, все в поселке гадали, а рабочие даже поспорили на бутылку, какой же цвет замдиректора с женой выберут. А как увидели, сначала очень подивились. Кто же свой дом в темно-серый цвет красит? А им потом объяснили, что это платиновый и поэтому самый благородный цвет. Замдиректора сам из Ленинграда, и зовут его не то Голицын, не то Милославский, а жена у него из Таллинна. Они вместе в Ленинграде в судостроительном институте учились, а теперь она на голубом «москвиче» в парикмахерскую ездит.

Но это все не мама мне рассказывает, мама гордая и «бабских» разговоров не признаёт. У нее тоже высокая шея, как у американских кукол-блондинок, но волосы черные и короткие, и она ни на кого не похожа, и на нее никто не похож, даже я. Наверное, поэтому Кульюс с ней так любит разговаривать. Он, наверное, когда на нее смотрит, все забывает: и белые «жигули» свои, которые каждое воскресенье моет, и парник свой потный с огурцами и помидорами, и дом, где он уже первый этаж успел утеплить, и жену Валве с апельсиновыми волосами, которая в универмаге работает, и своих детей в финских спортивных костюмах синего цвета с двумя белыми полосками вдоль рукавов и штанин, и всю свою трудовую директорскую жизнь с пионерскими слетами, партийными собраниями, второгодниками и двоечниками, которых неустанно делает достойными членами, и белую майку бельевую, и штаны свои тренировочные с пузырями на коленях, как у русских за Советской улицей. Ему, наверное, жена финский костюм не дает надевать, когда он с машиной возится.

Он у мамы все время одно и то же спрашивает. Когда приехали и на сколько, что надо было бы на подольше и что в этом году август обещают жаркий, и как часто нам белье постельное меняют и что должны как минимум раз в десять дней, а то дети песок в простыни заносят, и какие нынче очереди в рабочей столовой, и что лучше туда ровно к часу приходиться, и что в ресторане простым учителям слишком дорого, и про работу ее и про меня. На меня он, правда, никогда не смотрит – наверное, чтобы времени не терять. Хотя нет, один раз взглянул мельком, поморщился и сказал, что на маму я совсем не похожа. А я сказала, что похожа без очков, что у меня ее овал лица.

Но он и слушать не стал, все на маму торопился смотреть, как будто поймать ее хотел, как будто она бабочка редкая, залетела случайно на богатую улицу и вот-вот выпорхнет, и останется Кульюс опять один со своим домом, женой и машиной. Поэтому, когда он прощается, лицо у него, как будто ему себя жалко и чего-то стыдно, я же вижу, хоть оно у него и под большими очками.

Раньше богатая улица кончалась платиновым домом, то есть на углу Морской, что к морю ведет, как и все дороги в Руха. Вообще-то богатая улица на самом деле Лесная, она в лес идет. Но ее так уже давно никто не называет, хотя богатые только за границей живут, а у нас все равны. В общем, напротив дома замдиректора лес как стоял, так и стоит. А вот с противоположной стороны богатую улицу удлиняют, новые дома строят. Мы обычно сразу на Морскую заворачиваем, в приморский лес. А если прямо идти, по новой богатой улице мимо новых домов, там, где справа валуны, за которыми малина дикая растет, то выйдешь прямо к дому черного капитана. Мы так тоже иногда ходим, если сначала заходим за знакомыми со Спокойной улицы, чтобы вместе за черникой идти. По дороге моя сестра и двоюродный брат сразу за валуны бегут малину собирать, и я за ними, но только до дома черного капитана.

Там мне уже никакая малина не нужна, я черного капитана хочу увидеть. Я точно знаю: он где-то здесь, в доме своем, где веранда не застекленная, как у всех, а слепая, кирпичная и с иллюминаторами. По четыре иллюминатора на каждой стороне, всего двенадцать. Черного капитана толстая Эрика прячет, а по ночам дом заставляет строить. Я однажды слышала в универмаге, как Валве Кульюс говорила, что там по ночам инструменты стучат и пила визжит. А соседи что? А что соседи? Они городские, богатые, им дом днем строители строят, а ночью там никого. Они там пока не живут, а те, что через дом, так они там тоже пока только стены утепляют, у них там один глухой старик ночует, дом сторожит. И собак они еще не завели. А через два дома, которой деревянный, из подпаленных досок по финскому образцу, так те да, те один раз ночью выходили посмотреть, но так ничего и не увидели. А как в сторону капитанского дома направились, так все сразу и стихло.

Я у мамы спросила, а она говорит – ерунда и бабские разговоры. Этой Валве больше делать нечего, как языком чесать и тряпки импортные продавать из-под прилавка. А когда я у нее спросила, почему Эрика тогда никого в дом к себе не пускает, и в сад тоже, мы с ней всегда

за калиткой разговариваем, то мама сказала, что – не доверяет, боится, что поломаем что-нибудь или испачкаем, а в саду наступим куда-нибудь не туда и истопчем, и что для некоторых дом важнее души, никто же не любит, когда в душу лезут, и вообще, не все же, как мы, не хлебом единым. Или, может, чтобы не угощать – растворимый кофе – дефицит и дорогой, а чай эстонцы не пьют. А то, что мальчишки ее ни с кем не дружат, так это всё от воспитания и чтобы друзей своих в дом не таскали.

А я все-таки думаю, Эрика его прячет. Вдруг он убежит, и дом недостроенным останется. В Руха же много красивых дачниц, а у Эрики ноги и руки толстые, глаза узкие, и ходит она всегда в одном и том же бордовом кримпленовом платье с мокрыми подмышками. А черный капитан красивый, я точно знаю, ну и что, что его никто не видел. Волосы у него цвета вороньего крыла, как москвичи говорят, лицо бронзовое и точенное солеными ветрами, а глаза лазурные, как испанское море.

Так что когда мы по тропинке за капитанским домом к Спокойной улице заворачиваем, то я, если в саду никого, вдоль забора иду близко-близко и медленно, почти к нему прислоняюсь. Маме не нравится, что я забор обтираю, но она за разговорами меня забывает. А я в каждый иллюминатор по очереди смотрю, пока мы сад огибаем. И все жду, не мелькнет ли в них что-нибудь. Но в иллюминаторах этих тьма и они молчат, как рыбы глаза.

С Эрикой мы познакомились, когда еще жили в школе. Но уже не в большом классе в розовом доме, где нас отдыхало пятнадцать человек. Нам в то лето Кульюс как раз выделил маленький двухсемейный класс, всего на шесть мест. Для нас троих и для учительницы из Тарту с двумя детьми. И школьной доски в этом классе не было, только раскладушки, а в углу парта с новой плиткой. Мама радовалась, а мне было жалко. Мы в большом классе с другими детьми всегда наперегонки бегали, когда дождь шел. Раскладушки же были вдоль стен расставлены, а парты свалены в углу друг на друге, так что посередине места – как на спортивной площадке. На нас кричали, что мы все побьем, но мы все равно бегали и даже в пятнашки играли, и не боялись, что в угол поставят. Углы-то все были заняты, так что ставить нас было некуда.

Мама еще все радовалась, что нас всего две семьи на одну плитку и что с яйцами или с супом не надо в очереди стоять или ругаться, кто первый подошел со своей кастрюлькой. Она же гордая и выросла не в коммунальной квартире, и ей все это в тягость. А другие учительницы, те, что из России, у них опыт. Мы поэтому, чтобы себя не унижать, иногда в ресторан ходили обедать за сумасшедшие деньги. Рабочая столовая тогда еще только рабочих кормила.

А с учительницей из Тарту она быстро подружилась. Потом Кульюс сказал, что он специально ее к нам подселил, знал, что они с мамой сойдутся характерами. У мамы ведь темперамент не балтийский, а степных широт. Мама только фыркнула, а нам объяснила потом, что, мол, Кульюс думает, он великий психолог, потому что у него партийный билет в кармане, и что пускай он свою жену изучает, а она как-нибудь сама со своим темпераментом разберется. Но все равно очень радовалась, и мы с этой учительницей и ее детьми каждый день на пляж ходили. Дочка была меня на год старше и не вредная, а сын сам по себе. Они меня не дразнили, что я в очках, а дочка, ее Марис звали, меня даже за руку брала, хотя у меня тогда диатез был между пальцами.

Вот тем летом мы с Эрикой и познакомились, они как раз первый этаж построили, и черный капитан опять в море ушел деньги зарабатывать на кирпич и финский санузел.

Мы тогда целыми днями купались. С утра на пляж, потом домой обедать, а потом опять на пляж и в море. Марис вообще из моря не вылезала, даже если вода была холодная. Мы сначала думали, это потому что у них в Тарту моря нет, а потом нам объяснили, что у нее такое заболевание теплообмена – она холода не чувствует. А вот от жары ей сразу плохо становится. Так что она, даже если холодно, в море часами может сидеть.

Я уже точно не помню, как именно мы познакомились. В Руха вообще все друг друга давно знают, и местные, и дачники. А если кто новый появляется, то он вроде тоже как свой, как будто всегда здесь был, только вот по улице не ходил, а теперь вышел – и все его сразу узнают и привечают. Помню только, стоим мы с ней у мостика на Белой речке и разговариваем. Она к себе идет, а мы на пляж. И она все говорит и говорит о белых кирпичках, которые им форельный колхоз обещал, и о шифере, что он дешевле, но они все равно черепичную крышу будут делать, и что весь крыжовник в этом году божьи коровки съедят, и что этим летом грибов точно будет много, и она теперь банки собирает, что радужную форель скоро тоже в стеклянных банках будут консервировать, что это культурнее, но тяжелее – это она про москвичей, они же эту форель в Москву возят, и что, как первый этаж окончательно построят, сразу собаку заведут, а мальчишки всё черного капитана просят обезьянку им привезти, просто мечтают наверное, чтобы она полированную мебель погрызла и занавески порвала, а мебель эту они уже через полтора года хотят заказать, когда второй этаж будет.

И мама ей поддакивает, а сказать ей нечего – мы же в малогабаритной квартире живем и мебель у нас не полированная, а про шифер и черепицу она вообще ничего не знает. И учительница из Тарту молчит, хоть она тоже эстонка, как и Эрика. А у Марис лицо вдруг побелело, и все веснушки пропали, и губы синие, как от холода, и рука, мы с ней за руки ходим, хоть у меня и диатез, холодеет, вот уже как ледышка. Мы ведь пока капитаншу слушали, на жаре стояли. Хорошо еще, внизу Белая речка, мы Марис сразу туда повели и в воду посадили, а Эрика пошла себе дальше, как будто недовольная, что недоговорила про свой дом.

У них тогда еще веранды не было, ну и иллюминаторов тоже, конечно. А погреб они сразу вырыли, чтобы там соленья всякие держать. Как же Эрике без погреба? Она без него и дня не может прожить. Она маме так и сказала: ни одного дня. А мама опять поддакивает, а сама усмехается, а Эрика ей говорит, что она теперь в огурцы обязательно лист черной смородины ложит. Так и говорит: ложит.

Я уже тогда стала подозревать, что Эрика черного капитана прячет. Поэтому она всем часами про свои соленья рассказывает, чтобы все думали, что в погребе у нее только банки стоят и бочонки с квашеной капустой. А на самом деле она там черного капитана морит, днем его усыпляет, а ночью заставляет работать.

Когда я это поняла, то стала наблюдать за Эрикой. Как она говорит, не дрожит ли у нее голос, твердые ли руки, не переступает ли с ноги на ногу, не выступает ли у нее пот на лбу, не вспыхивает ли вдруг, как мама, когда Кульяс к ней бежит, не отводит ли глаза, не вздрагивает ли без причины. Но по ней ничего не видно. Руки, как всегда, толстые, спокойные, картошку держат или капусту, которую она у русских покупает для квашения. И в глазах узких все ровно, темно и тускло, как в тине, она их не отводит, но и прямо не смотрит, будто ей все равно, с кем разговаривать.

Я еще хотела за ней следить, как шпион, но мне мама в то лето только до Белой речки разрешала одной ходить. Боялась, наверное, что я опять заблужусь. А сестру мою на богатую улицу не уговоришь пойти. Ей там скучно. Она в лес хочет или к морю. Тогда я шесть батончиков «Березка» накопила, она их еще больше любит, чем я, и мы к дому капитанши пошли. Я ей ничего про капитаншу не сказала, у нее в Руха подружек много, вдруг она им проболтается, и все узнают про тайну черного капитана. Я ей три батончика сразу дала, а три на потом оставила.

Мы до капитанского дома дошли и остановились, а она уже обратно хочет, ей скучно, малина-то за валунами еще зеленая. Я к калитке подошла и на дом смотрю, на дверь деревянную, за которой коридор должен быть, и лестница вниз, и железная дверь с замком в погреб. В саду никого, собаки же у них пока нет, мальчишек тоже не видно, и тишина, только сосны гудят над валунами, как антенны, море транслируют.

А я стою, и мне вдруг как-то пустынно становится, не по себе, как будто я заблудилась и мне надо дорогу искать, а я стою и боюсь пошевелиться и слово вымолвить, ведь меня все

равно никто не поймет, как тогда в песках у моря, никто же моего языка не знает, и тогда мне снова надо будет плакать. Вот так все стою в тишине и смотрю на дверь эту, за которой внизу в тьме безвидной спит черный капитан с глазами цвета испанского моря, так крепко, что и сам не знает, что томится. Тут меня сестра за руку дернула, и я сразу все услышала: и визг пилы у городских соседей, где строители дом строят, и гул моря в соснах, и сестру, которая батончики кланчит, и лай собак на богатой улице, и саму капитаншу.

Она мне по-эстонски из сада кричит: «Девочка, тебе чего?», как будто не узнаёт меня. А я ей не верю, я же одна в Руха в очках, меня здесь все знают. Я ей ничего не ответила, а она опять кричит, чтобы мы в лес шли играть, нечего нам здесь у чужих садов тереться. Так я тогда ничего и не увидела.

А Марис я все рассказала про черного капитана. Она в Руха первый раз, и я у нее одна настоящая подружка. И Эрику она не любит, ведь это она из-за нее тогда чуть в обморок не упала у Белой речки. И что усыпляет его мертвым сном, а волосы его цвета вороньего крыла привязывает к кровати, к железным прутьям у изголовья, а ночью, как лунатика, из погреба выводит работать, а сама за соседями следит из окна, и что дом свой специально в конце улицы строит, где поменьше народу и красивых дачниц, а нам всем зубы заговаривает про стройматериалы и соленья, чтобы отвлечь нас от черного капитана. Марис мне сначала не поверила, а потом согласилась со мной ночью к капитаншиному дому пойти.

Мы с ней всё заранее приготовили. Сандалии в коридор поставили, сразу за дверью под парту, чтобы ночью босиком по комнате идти. И свитера туда же положили, а под ночной рубашкой оставили шорты. Я в карман маленький фонарик засунула и перочинный ножик. А Марис – дропки шоколадные. За ужином мы сначала все время хихикали от волнения, так что мама стала на нас странно поглядывать, а потом я Марис под столом сильно наступила на ногу, и мы стали смотреть в разные стороны, чтобы не встречаться глазами и не смеяться. А после ужина на нас уже никто внимания не обращал. У сестры моей песенник, ей вообще ни до чего, она туда каждый вечер новые песни записывает и фотографии певцов с гитарами специально между куплетами расклеивает, чтобы было красиво и томительно. А брат Марис сам по себе, он хоть и высокий, но его не видно совсем, он какими-то своими делами невидимыми занимается. То ли думает, то ли влюбился.

Когда все уснули, сначала я встала, как будто в туалет, и дверь в коридор открытой оставила для Марис. А ее раскладушка рядом с дверью. Она сразу после меня вышла и дверь закрыла. А сандалии мы решили уже на улице надеть.

Мы тогда рядом с бассейном жили, в глубине школьной территории. Так что нам до Советской улицы надо было мимо голубого дома пройти через баскетбольную площадку к розовому дому, где скверик с акациями, потом направо свернуть и через дорогу, а там уже и Дом моряка над спуском к Белой речке и богатой улице. Фонарик нам не понадобился, так ярко луна светила, и дома – и голубой, и розовый, и зеленый – все как выцвели, но при этом блестели, глядя на нас неподвижно глазами впадинами, а деревья, наоборот, почернели и колыхались. Так мы и шли с Марис, прижимаясь к стенам, и я на всякий случай переложила перочинный ножик из кармана в руку, а когда дошли до баскетбольной площадки, то побежали, чтоб было быстрее и не страшно.

До розового дома добежали и остановились. И так у нас в ушах колотило, что ничего не было слышно. А потом у Марис закололо в боку, она хотела сесть на ступеньки у входа, но я ей говорю, что так еще хуже будет, я же знаю, я гимнастикой занимаюсь, надо наоборот, дальше идти бодрым шагом и ровно дышать. Или хотя бы дойти до акаций, там есть скамейка, и нас там не будет видно. Но Марис все равно села, и тут нас мама и догнала с учительницей из Тарту. Они, оказывается, все это время шли за нами, их брат Марис разбудил, за то, что она сказала, что он влюбился. Мама меня не ругала, а только сказала, что я ее очень расстраиваю, потому что эгоистка и не думаю о ее больном сердце. А учительница из Тарту с Марис обратно

пошли отдельно, и она тоже ей всю дорогу что-то говорила. И Марис тогда даже заплакала. Ведь мама у нее мать-одиночка, ей и так трудно в жизни, и Марис ей очень жалко, что у нее нет папы, как у всех детей, и она даже думает, что зря родила ее на страдания.

Это мне Марис уже потом рассказала. А мне мама, наоборот, всегда говорит, что она чуть не умерла во время родов и что поэтому я просто обязана быть счастливой. Ведь не зря же она тогда чуть не умерла, если бы не врач с золотыми руками, который дежурил в то воскресенье в роддоме.

Так я и не дошла ночью до дома черного капитана, ни тем летом, ни следующим, когда к нему прилепилась веранда с иллюминаторами, тихими и глубокими, как рыбы глаза.

И Марис больше в Руха тоже не приезжала. Так что теперь я одна следила за капитаншей и ее домом. Однажды, когда мы проходили мимо него и я, как всегда, прижималась к забору, чтобы лучше видеть, в третьем иллюминаторе на торце веранды что-то замерцало. Словно кто-то давал световые сигналы: спасите мою душу. Только я заволновалась и остановилась, как вдруг появилась капитанша. И опять сделала вид, что меня не знает, мама-то уже вперед ушла: «Иди давай, нечего здесь стоять, в лесу малину надо собирать, а здесь нечего».

Я только рот раскрыла, чтобы сказать ей, что мне ее малина не нужна и что я все знаю про нее и про черного капитана, как Эрика повернулась и исчезла так же внезапно, как и появилась. А когда мы ее встретили на следующий день около универмага на Советской улице, то она сразу начала маме говорить, что пускай вон другие в очереди стоят за импортными тряпками, а ей муж из Португалии чулки-сапоги лакированные обещал привезти и белые брюки клеш кримпленовые. Я тогда ей прямо в глаза ее тинистые стала смотреть, чтобы она знала, что я все знаю, но она на меня даже не взглянула, но не так, как Кульюс на меня не смотрит, когда с мамой разговаривает, а как-то по-другому, не по-настоящему, как-то очень специально, и потом так быстро попрощалась и пошла дальше, что мама даже удивилась. Она же вроде ей ничего обидного не сказала.

А один раз я у нас на кухне слышала, когда москвичи там грибы варили и между собой трепались, что черный капитан – это местный фольклор и опиум для страждущих. Никакого черного капитана с аджарскими кровями и орлиным профилем и в помине нету, вы еще скажите, что у него повязка на глазу, вместо ноги протез из китового уса, а на плече попугай сидит и кричит: «Пиастры, пиастры». А есть просто обычный белобрысый эстонский моряк советского торгового флота, который плавает в иностранные воды и сбывает там обычное советское сырье, а в обмен на пюссискую древесину, коричневое золото из ихнего Кивиыли и текстиль из Кренгольмской мануфактуры, ну, может, нефть еще, привозит джинсовые костюмы и юбки адидас и леви штраус, и турецкие дубленки, и итальянские болоньи, и уж точно нейлоновые черные колготки, которые сейчас в моде. А Эрика потом все это перепродает за бешеные деньги, чтобы стройматериалы покупать. У нее дома, наверное, целый склад джинсовый. Поэтому она никого к себе в гости и не зовет и одевается как колхозница, чтобы не подумали чего. И к тому же, согласитесь: как такая, мягко говоря, непривлекательная особа могла найти себе красавца-мужа. Этого просто не может быть.

Я тогда не знала, верить им или нет. Москвичи же очень просвещенные в своей столице мира. Но мы тоже в столице живем, хоть и не мира, но Эстонии. И у нас финское телевидение есть, а у них только программы с русской народной музыкой и танцами.

Мама мне сказала, чтобы я поменьше болталась на кухне и слушала всякие сплетни. Она вообще к москвичам скептически относится. Ну, во-первых, они слишком раскованные, а во-вторых, все время плиту занимают грибами. У них целый день кастрюльки кипят, а потом они эти грибы вареные сразу в банки с солью закатывают, чтобы в Москву везти, на зиму.

Правда, я тогда совсем недолго сомневалась. Я быстро поняла, что им не верю. Я бы и им объяснила почему, но ведь они никого, кроме себя, не слышат. Только если про грибы

говорить, или про когда горячую воду в поселке дадут, или что в универмаг польские плащи обещали завезти.

А я, как поняла, даже огорчилась сначала. Какая же я все-таки дура, что сомневалась в черном капитане. Как я могла? А он вот почему существует. Хотя в прошлом году, когда Марис здесь была, мне бы это даже и в голову не пришло. А этим летом у меня в Руха нет настоящей подружки и я меньше отвлекаюсь на дружбу. Все равно странно, ведь и тогда у Эрики были ее мальчишки, и я даже спрашивала у мамы, почему они всегда одни играют, ведь на богатой улице много других детей. И сама Эрика на них маме жаловалась, что с грязными ногами в дом бегают, что обезьянку просят привезти, что она боится мебель полированную заказывать, они ее со своей обезьяной сразу всю обцарапают, и что ленивые они и уроки не любят делать.

Я же это все слышала и часто их видела, но только сейчас поняла, почему москвичи неправы. Все дело в ее сыне, Томасе. Он на год старше Мати. Если бы у капитанши был один Мати, я бы, наверное, москвичам поверила. Мати беловолосый и плотный, как капитанша, а глаза у него блекло-зеленые, цвета осоки в дюнах. Он сын того бесцветного моряка советского торгового флота, с кивиыльским сланцем и древесиной, и с чемоданами, набитыми джинсами и колготками, о которых тогда москвички за своими кастрюльками говорили на кухне. И капитанши Эрики, чей он точная копия.

А Томас такой красивый, что на него даже смотреть трудно. Может, поэтому я его и не видела все это время, как будто он и его имя были разделены и только этим летом вдруг соединились в моем взгляде. Томасу подходит слово «трагический». Мама это слово очень любит, и москвичи тоже, а папа его редко употребляет, но, по-моему, часто думает.

Трагическая история, трагическая судьба, трагическая любовь, трагическая жизнь, трагический герой, трагическая героиня, трагическая смерть. И мне это слово нравится – оно такое загадочное, притягательное, как море ночью, когда мы купаться ходим всей компанией. И такое же грозное и недостижимое, как небо, куда впадает это ночное море, когда поглотит горизонт. А капитанша этого слова и не знает вообще, хотя сын у нее трагический; или забыла, или оно ей на нервы действует. А может, ей просто некогда. Ей же надо деньги на кирпич копить, и на черепицу, и на мебель полированную, и на новый унитаз. Она недавно чешский раздумала покупать, все говорят, что финская сантехника самая лучшая в мире. В колхозе ей обещали с унитазом помочь, у них там с Финляндией братские связи. Так что теперь у нее незапланированные расходы, финский-то унитаз намного дороже, он же с настоящего Запада, но она не унывает, а наоборот, ведь главное – цель в жизни.

А у Томаса волосы цвета вороньего крыла, как и у черного капитана. Я таких волос ни у кого не видела, ни в Руха, ни в Таллинне. И кудрявые, но не барашком, а такими небрежными волнами. Глаза у него неуловимого цвета, но скорее зеленые, только не как у Эрики или у Мати, а переливчатые, как морская зыбь. В них то небо отражается, то мох под соснами, то солнце в них золотится, а то из них весь цвет исчезает и появляется трагическое. Но он редко на других смотрит, как будто и ему это трудно, будто он себя стесняется.

У них с Мати нет спортивных костюмов финских, как у других детей на богатой улице, или им капитанша их носить не разрешает, бережет. Но Томас и в старых сангаровских шортах и коммунаровских сандалиях возвышенный, хотя и стеснительный. А что трагический, так это потому, что отец его томится, и на нем его томление сияет.

И Эрика его как-то по-другому ругает, чем Мати. Я однажды их в саду видела у веранды, когда за валунами малину искала. Мне тогда мама уже одной разрешала ходить за Белую речку. Капитанша кричала, что он разгильдяй, и что она Кульюсу пожалуется, и что он опять грядки не полил, а Томас молчал. А потом она руками стала размахивать около его лица, а он только отошел в сторону и опять молчит, голову опустил, но не убегает. И тут она как завопит, что лучше бы он и не родился вообще, и были бы у нее Мати и другой ребенок, который бы ей помогал в ее трудной жизни.

А Томас поднял голову и улыбнулся, я за ближайшим валуном сидела, так что мне хорошо было видно. И стал на нее так смотреть, как будто все про нее знает, и про отца своего, черного капитана, будто он сторож отцу своему, которого она мучает, а он, Томас, знак мучений его трагический на себе носит, чтобы она не забывала, поэтому она так его и ненавидит. У капитанши сначала руки упали вдоль тела, как тряпичные, а потом она одной рукой размахнулась да как двинет его по лицу. Томас отвернул лицо в сторону и стоит, а капитанша на руку свою посмотрела, которой его ударила, о платье обтерла и пошла прочь. А я сижу за своим валуном и вижу, какой он красивый и гордый. Щека у него горит, а он стоит себе и ничего не делает, а потом вдруг засвистел, руки в карманы сунул и тоже пошел.

А я все сидела на корточках, и смотрела на сад, на пустое место между грядками, где они только что стояли друг против друга у поленницы под навесом, и на веранду с тихими иллюминаторами, и все ждала, что вот откроется дверь и выйдет черный капитан. Вот он восстанет на крыльце, прищурится и приставит руку козырьком ко лбу, чтобы на солнце посмотреть, и засвистит, как Томас. Вот он вытащит пачку сигарет из кармана, и закурит, и спустится в сад, а потом повернется и пойдет легко и скоро сына своего искать, и будут ноги его, как вихри, и будут волосы его пылать на солнце, как черное пламя.

А еще через год мы опять приехали в Руха. И я стала спрашивать тех дачников, которые здесь с начала июня отдыхают, не видели ли они черного капитана. Но они только отмахивались и плечами пожимали: что за глупый вопрос, все же знают, что он летом в море. А когда я у Кульюса спросила – он как раз маме советы давал у своей калитки, – то он меня как будто и не расслышал вовсе и опять сказал, что я на маму не похожа. А мама ему ответила, что да, я папина дочка, что он тоже блондин в очках и тонкая натура.

Томас за год вытянулся, а шорты на нем те же самые, сангаровские. А Мати потолстел и ходит в длинных финских спортивных штанах, даже в жару. То ли ног своих стесняется, то ли штаны показывает, что не хуже, мол, чем у детей на богатой улице. Томас, с тех пор как его капитанша ударила, еще более красивый стал и отдаленный. Раньше он себя как будто стеснялся, а сейчас ходит, словно ему до себя и дела никакого нет. И от этого он еще более трагический, как один поэт, который в прошлом веке в юности погиб на дуэли. У этого поэта тоже очень красивое лицо, и волосы черные, блестящие, и смотрит он со своего портрета, будто ему все равно, есть ли он или нет его. И даже, может, было бы лучше, если бы его и не было – художнику было бы меньше работы, а ему не надо было бы смотреть на мир скорбными глазами и делать вид, что он существует.

На Эрике теперь платье без рукавов, белое с синими полосками, а на них по диагонали красные цветочки рассыпаны. Они за это время еще пол-этажа облицевали и сауну начали строить. В глубине сада, там, где за забором сразу лес начинается, который разделяет богатую и Спокойную улицы. «Душ душем, это, конечно, гигиена и культура, – говорит капитанша, – а сауна – это здоровье, оптимизм и хорошее настроение. Сауна – это базис».

Мне не нравится слово «базис», оно какое-то бетонное, а в бетон, например, человека можно замуровать навеки. Я это в фильме видела про итальянскую мафию. Там одних людей засунули в жидкий бетон, а потом его как базис использовали для моста или башни, а может, и жилой дом на нем построили.

Мы это слово недавно в школе проходили, вместе со словом «надстройка», с которым они неразрывно связаны. Мне и слово «надстройка» не очень нравится, хотя оно означает что-то вроде счастья. Правда, это не простое счастье, а обусловленное, его только на базисе можно построить. Так что не так уж они и неразрывно связаны. Ведь базис может и без надстройки обойтись, а вот наоборот... Вот и получается, что базис главнее, и капитанша совершенно права, что так о нем заботится. Ей и слово это очень нравится, она его сегодня уже несколько раз повторила, как будто недавно выучила и боится забыть. Хотя по-эстонски – «баазис» – оно

звучит не так сурово, как бетон, а скорее как жидкий бетон, который еще не застыл, а значит, не так окончательно и бесповоротно, как в русском. Как будто оно еще подлежит обжалованию и есть еще слабая надежда для этих двоих из фильма про итальянскую мафию, перепуганных до одури, как курицы, которых ловят в суп. И для всех других строптивых и чистоплюев, тех, короче, что сразу хотят в надстройку и не желают пачкаться в грязном котловане с базисом. Ишь, какие хитрые.

Так что капитанша за этот год поумнела и полностью убедилась, что идет по правильному пути к базису. Они, когда сауну построят, будут туда гостей приглашать, как все делают на богатой улице. И москвичей тоже, образованных, чтобы мальчишек развивать. И никаких консервов им московских не надо, у них свои есть, не хуже. Это они в блочных домах за консервы и сырокопченую колбасу в душ пускают, хотя так прямо не говорят, конечно, но все же знают. А пока работать надо не покладая рук, базис строить. Вот только с Томасом что-то не то. Ни учиться не хочет, ни по дому помогать, и все ему все равно. И с Мати ссорится все время. Не дай бог, скоро курить начнет. А недавно, в мае это было, плевательный конкурс организовал, прямо на нашей улице. Да еще напротив дома замдиректора, где Морская улица начинается. Нет, Мати не участвовал. А так их точно человек двенадцать было, детей. И с Советской улицы, и со Спокойной, и даже русских пригласил, которые за Советской улицей в бараках живут. Ну и своих конечно, с богатой улицы. Там и Марика, дочка Кульюса, участвовала, третье место заняла, отец все-таки директор школы. И главного инженера близнецы, и даже парторга сын. А что было? Так он устроил конкурс, кто дальше плюнет. Сначала просто так, а потом с семечками.

Никто ж сначала не понял, что они там делают всей компанией. Тем более там и парторга был сын, и начальника отдела кадров, это того, у кого родственники в Канаде, он себе еще недавно «жигули» новые купил вишневого цвета. А тут Ану замдиректорова из окна посмотрела, больно они смеялись громко. Ну, а она как раз дома была и на балкон вышла. Смотрит, а у нее на машине что творится! Ей сверху все видно. Так у нее там крыша голубая вся семечками заплевана. Это они с валуна через забор на ее «москвич» плевали, кто на крышу попадет. А семечки русские принесли. Ну и шума было... А я говорю, нечего все на Томаса сваливать, у него отец в море, а я одна, и на мне весь дом. Вон парторг тоже не уследил, а у него, между прочим, работа такая – следить. Значит, и они детей своих несознательно воспитывают, что они все в конкурсе захотели участвовать. И Томас мой, между прочим, не курит, а вот дочку Кульюса в лесу за «Анкурром» с сигаретой видели. А Ану теперь со мной не здороваются.

Ну, Томаса на пионерском собрании разбирали, выговор вынесли и двойку по поведению поставили. Кульюс с ним еще отдельно разговаривал, но я не знаю, что из этого вышло. Он только сказал, что будет и дальше бороться и воспитывать и неустанно делать достойными членами. А Томас молчит.

Мне нравится, что Томас молчит. Ему молчание идет, как детям с богатой улицы американские джинсы. От молчания он еще трагичнее делается, еще больше превозносится, совсем как прошлым летом, когда Эрика его по лицу ударила. А капитанша от его молчания бесится, я же вижу. Она, наверное, думает, лучше бы он курил, тогда бы она знала, как его ругать. А от молчания у него знак черного капитана еще ярче становится. Чем больше он лицо свое от нее сокрывает, тем ярче у него этот знак горит.

Томас теперь целыми днями нож метает. Это у него новое увлечение после плевательного конкурса. Ему отец из Андалузии нож мавританский привез, вот он его и метает в дерево. Или в саду, если там капитанши нет, а Мати ему не мешает – он брата своего как будто и не видит вообще, – или в лесу мелом мишень на дереве отметит и метает. И расстояние каждый раз увеличивает. Вот он уже до трех метров дошел, и капитанша ему запретила в саду метать. Бойтся, что в нее попадет или в Мати. А ножик у него не решается отобрать, его же черный капитан подарил. И потом, он его всегда с собой носит, а на ночь где-то так прячет, что сам

черт не найдет. Когда она ему в саду запретила метать, он спорить не стал, а молча повернулся и в лес пошел. А ему еще грядки надо было полоть, и куриц кормить, и уроки делать, его же с условием Кульюс в следующий класс перевел. Она ему кричит в спину: куда пошел, когда придешь; а он раз – через валуны и сиганул в лес.

Мама по очереди кивает капитанше и головой качает. Она, как учительница, Эрику понимает, и когда капитанша Томаса опять начинает с новыми силами ругать, что целыми днями в лесу пропадает и что не ест ничего и худеет с каждым днем, то говорит, что это переходный возраст. А капитанша ей в ответ, что лучше бы он курил или дрался, как русские за Советской улицей, а так – у нее просто руки опускаются. А мне ее не жалко совсем, я же знаю, что она его по лицу ударила, чтобы знак черного капитана ей в глаза не сверкал, и руки у нее еще больше потолстели с прошлого лета, а глаза все такие же тинисто-мглистые, и ничего в них не видно. И так пристрастна она дому своему, как будто это его она под сердцем носила и до сих пор носит, а не сына своего.

И москвичи говорят, что все это переходный возраст плюс акселерация и что вообще-то драть этого Томаса некому. И что этот ваш знаменитый черный капитан детей-то сделал, а потом в море удрал денежки зарабатывать и чтоб подальше быть от своей дражайшей, и разумеется, что дом богатый – это, конечно, хорошо, и сауна у них скоро будет отличная, не хуже, чем у замдиректора, и вообще, эстонцы – народ хозяйственный и работающий, не то что наша русская пьянь, но одним домом ребенка не воспитаешь, а нужно еще что-то. Вот именно, не хлебом единым. Это уже мама добавила, и все с ней на этот раз сразу согласились, помешивая в кипящих кастрюльках и шипящих сковородках.

А я молчу, как могила, не могла же я им тайну черного капитана выдать, что он у Эрики раньше в погребке томился, а теперь в их закрытой веранде под полом, чтобы его не увели красивые и такие же черноволосые, как и он, дачницы, и что Томас про него знает и поэтому ненавидит Эрику, а она его. Никто бы мне все равно не поверил, доказательств же у меня нет, кроме мерцания SOS – спасите мою душу – в третьем иллюминаторе на торце веранды, которого никто, кроме меня, не заметил.

А потом еще кто-то сказал, какие современные дети неблагодарные и родителей своих, которые на них горбатятся и надрываются, ни в грош не ставят. А все потому, что не знают, что такое война. Вот если бы знали, что такое война и голод, по-другому бы относились к своим родителям, которые терпят от них черную неблагодарность. «Ну, Эрика, между прочим, не воевала, она тогда еще только родилась, а вот что ее родители во время войны делали, так это еще под большим вопросом», – возразил кто-то и даже оторвался на секунду от своей кастрюльки. А потом прибавил, что каждое поколение имеет право на свои трудности и нечего шантажировать детей нашими личными проблемами и собственным искалеченным опытом и тем самым прививать им свои комплексы. Мы должны растить здоровое поколение. Тут все оторвались от кастрюль и сковородок, а кто-то даже кран выключил, чтобы вода не шумела. Тогда этот первый стал очень тихо говорить, но всем было отлично слышно, в кухне же теперь тишина настала, что не для того миллионы отдали свои юные жизни, чтобы над их памятью издевалось новое поколение, и что идеологически незрелые родители хуже, чем родители-алкоголики, и что, видимо, находясь в Эстонии, которая по своему мышлению еще не окончательно изжила в себе буржуазно-капиталистические предрассудки, некоторые решили, что и им позволены различные декадентские вольности. И что кому здесь не нравится, пускай едет себе в Америку за всеми этими Бауманами и Либерманами. Ну тут уже все закричали, что никто ни над кем не издевается и что никто не забыт и ничто не забыто и вечная память павшим, а потом опять включили воду, и когда запахло горелым, то снова бросились к своим сковородкам, а мы с мамой ушли из кухни, так как после грибов на зиму москвичи сразу заняли плиту супом своим детям на обед, чтобы те не испортили себе желудок на сухомятке и не нажили язву.

Мама сказала, что у нас еще есть помидоры с огурцами и кусочек докторской колбасы и что мы обойдемся, и стала читать в журнале «Иностранная литература» современный и очень смелый французский роман про любовь и измену, которую называли красивым словом «адюльтер». Журнал ей надо было вернуть завтра вечером, потому что после нее в очереди стояло еще шесть человек. А я все думала о капитанше и Томасе.

Вот я представила себе его лицо, как он отвел голову к плечу, когда Эрика дала ему пощечину, как затвердели в камень его губы, чтобы ни одного слова не вырвалось из них, и как он опустил глаза с длинными черными ресницами, чтобы не испачкать свой взгляд о капитаншу.

И что Томас плевать хотел на ее базис, хоть она и его мать и говорит, что для него надывается. И что не хочет он в ее котловане грязном сидеть, и в чистом не хочет с голубым финским унитазом и полированной мебелью и сауной, которая будет не хуже, чем у замдиректора. И на надстройку ему плевать, которую она на своем базисе собирается строить, как будто правда думает, что виноградник ее что-нибудь другое может принести, кроме диких ягод. Как будто она правда верит, что дом ее, который черный капитан одурманенный по ночам строит, чем-нибудь другим наполнится, кроме как филинами, и бесами, и шакалами, которые выть будут в ее чертогах.

А знак этот на его лице, от которого у Эрики руки опускаются, с каждым летом будет все ярче разгораться, как знак знания мучений его отца, черного капитана. Но не будет знать Томас, что ему пока с этим знанием делать, кроме как плевательный конкурс устраивать, и вредно влиять на детей с богатой улицы, и молчать. И от этого он всегда будет такой красивый и трагический.

Мама все сидела и читала свой роман, а я вышла из комнаты и пошла на улицу. Сначала просто так, а потом около закрытой будки с мороженым повернула налево и спустилась к Белой речке. Перешла через мост и на развилке пошла налево, к богатой улице. Мимо их домов высоких, и крепких стен, и вождельных машин, и каминов, и шезлонгов, и густых малинников, и тучных огородов с парниками, и гордых детей с американскими куклами, прямо к дому черного капитана.

Села за валун напротив сада и стала ждать. Вот Мати вышел из дому, направился к сараю, взял ведро и стал курицам корм раскидывать. Потом сел на бревно у поленницы и одной рукой начал ковыряться в носу, а другой – шишки в куриц бросать. И не заметил, как появилась Эрика да как схватит его за ухо. Мати захныкал, и она его сразу отпустила, а когда он в дом ушел, долго стояла с опущенными руками и ничего не делала. Только все смотрела куда-то, а потом повернулась в мою сторону и в лес стала вглядываться за валунами. Меня ей точно было не видно, я хорошо спряталась, но она так долго стояла и смотрела, что у меня колени затекли. А потом опять повернулась и пошла в дом. А я за валуны и в лес через дикий малинник. Вот я продралась через него и попала в сосновый бор вперемешку с березами. Наверху ветер шумит, кроны раскачивает, а внизу между деревьями тишина. Минут через пять я услышала легкий свист, как будто что-то воздух прорезает. Я осторожно пошла на этот свист. А там Томас, как я и думала, вжик-вжик метает свой ножик. Арабская ручка тускло золотится между соснами, и лезвие впивается в ствол. Томас его вытаскивает и давай опять метать.

Я стою и смотрю, затаив дыхание, как в тот раз, когда его ударила капитанша, и пошевелиться боюсь. А он ничего не видит, только под ноги хмуро смотрит, когда идет вытаскивать ножик, и губы у него твердые и молчаливые, а потом опять переводит взгляд на мишень, которую отметил мелом, чуть прищуривается и метает.

И все метает и метает, без усталости и с распрямленной спиной, поражая белую мишень, будто это ненавистный базис, где сидит капитанша с толстыми руками, что его отца мучает, и где местные богачи превозносятся со своими высокими домами и каминами, и суетятся дачники с консервами, и шипящими сковородками, и кастрюльками с супом. Как будто он попать

хочет их базис, как грязь на улицах, и истребить, чтобы ничего от него не осталось, кроме черной раны.

Смерть Виктора

Если Советская улица, как река, пересекает Руха на два берега, западный и восточный, то Спокойная улица – это ее полузабытый, тихий западный рукав. Когда Советской улицы еще и в помине не было, а значит, и восточного побережья, и никто даже слова такого не знал – «советский», Спокойная улица была главной в поселке. Правда, Руха тогда была еще не поселком, а одним из маленьких курортов на одном из многочисленных заливов Балтийского моря.

В те времена, когда никто в Руха и не подозревал, что их поселение вскоре прорежет улица под чужим названием «Советская» и здесь возникнет целое восточное побережье, на котором поселятся дальние народы, Спокойная улица соединяла и разделяла прошлое и настоящее жителей Руха.

Через эту улицу, как через реку, они переправляли своих мертвых и хоронили их на кладбище у белой церкви. Жители Руха чтители своих мертвых, но на всякий случай выносили их из дому ногами вперед, чтобы те не нашли дорогу домой, или перевязывали гроб красной шерстяной ниткой, или же поворачивали покойника в гробу на бок, а то и вбивали в могилу осиновый кол, чтобы тот не превратился в домового. А после похорон через эту же улицу во весь опор гнали лошадей, мчась обратно в настоящее и оставляя мертвых в прошлом, под гудящими соснами за плитняковой оградой у белой церкви по левую сторону Спокойной улицы.

Что жители Руха думали о будущем – неизвестно. Это потом, когда они уже попали в это будущее, они наверняка очень удивлялись, может, просто поражались своему неведению, наивности и беспечности, а позже и нелепому героизму, с которым иные еще упирались при входе в это будущее и даже пытались бороться против него. А оно тем временем, уже изрядно наевшись, как циклоп с залитым человеческой кровью глазом, спокойно продолжало ощупывать свое новое стадо на пригодность материала для новых котлованов.

Но пока жители Руха жили в своем настоящем по правую сторону от Спокойной улицы. Ничем выдающимся и особо возвышенным это настоящее не отличалось.

Жители Руха проходили конфирмацию, работали, ходили по воскресеньям в белую церковь, пели псалмы, а в будни поклонялись камню, дереву или воде, которым по старинке и складу характера больше доверяли, чем завезенному когда-то крестоносцами христианскому небожителю, ловили рыбу в море, растили цветы, судачили, летом играли с дачниками в кегли в приморском лесу, строили яхты и смолили деревянные купальни на пляже, где дети в широких белых панاماх пускали кораблики на мелководье, а мамы следили за ними из-под клетчатых зонтов с бахромой. А также, как им было положено отцами и дедами, женились, рожали и умирали, аккуратно поддерживая численность населения Руха на оптимальном уровне.

Раз в году, в день летнего солнцестояния, после захода солнца жители Руха разжигали за домами на вершине зеленого холма большой костер, пели и резвились, а потом гурьбой бежали в лес, чтобы поймать миг цветенья папоротника. Ведь счастливчик, нашедший цветок папоротника, становился королем мира. Самые же умные отставали и слушали, как переговариваются звери и птицы. Только в эту ночь они могли узнать от зверей тайны будущего. Так что будущее, хотя и в сугубо субъективном, личном плане, все-таки занимало жителей Руха, и уж точно – молодых девушек.

Под утро девушки возвращались домой, прижимая к груди иванов цветок, и сразу начинали обрывать лепестки. Свадьба, крестины, похороны, любит не любит, свадьба, крестины, похороны, любит не любит, свадьба, крестины, похороны, лепестки падают на мокрую от росы юбку, девушки бледнеют, краснеют, хихикают, охают и ахают, хватаясь за сердце, а потом заплетают нервными пальцами косу и еще с открытыми глазами, завороченно вглядываясь в будущее, погружаются в сон.

Мы едем по этому будущему в автобусе. Вот уже виднеется почерневший заплатанный шпиль белой церкви, а под ним кладбищенские кущи. Сразу за кладбищем поворот на Спокойную улицу, но автобус едет прямо, по бетонному мосту с дырой в ограде на самом углу Спокойной улицы. Под нами Белая речка. За мостом уже начинается Советская улица, которая через пару сотен метров расширяется в некое подобие площади, безымянной, но, наверное, тоже Советской. С одной стороны площади – автобусная станция. Пористые стены из красного кирпича, навес над заплеванным полом и две обшарпанные скамейки без спинок, но с алкоголиками. Напротив – двухэтажное кирпичное здание серого цвета. На первом этаже «Продтовары», на втором – ресторан под названием «Ресторан». Около магазина никого, значит, либо товар еще не привезли, либо все уже раскуплено. Работает ли в этом году ресторан, мы пока не знаем.

Перед магазином какой-то богач, скорее всего эстонец, садится в желтые «жигули». Когда он уезжает, на площади не остается ни одной машины, кроме нашего автобуса. Я выпрыгиваю из вонючего салона. Меня еще мутит, но на этот раз хоть не вырвало. Мы сидели на первом ряду, где не так воняет бензином, и я весь путь, не отрываясь, смотрела вперед, чтобы не докучать своему вестибулярному аппарату. За мной выходят мама и сестра и какие-то незнакомые люди из Таллинна. Теперь я могу крутить головой сколько угодно. В Руха в воздухе разлиты йод и сосновая смола, так что он, как говорит мама, буквально напоен морем и лесом. Она уже на станции начинает глубоко вдыхать в себя целебные вещества, готовится, нам же еще с чемоданами до больницы тащиться, где нам в этом году Кульюс выделил комнату.

«Дышите глубже, девочки», – повторяет мама и справедливо, по старшинству распределяет между нами сумки и чемоданы. Пока она делает из трех пакетов один, засовывает свитера в чемодан и достает из большой сумки судки, набитые плавленными сырками, солью, сахаром, спичками и еще чем-то, я кручу головой, не жалея вестибулярного аппарата. Меня опять начинает подташнивать, но я продолжаю крутить головой во все стороны и на всякий случай даже поворачиваюсь вокруг своей оси на триста шестьдесят градусов, чтобы ничего не пропустить. Ни кирпичные красные стены, ни облупленные скамейки под навесом с тихими алкоголиками, ни покосившийся зеленый забор, за которым начинается школьная территория, где командует Кульюс, ни ресторан с тяжелыми деревянными дверями на первом этаже, где мы в прошлом году один раз ели куриные котлеты с поджаристой корочкой, ни стеклянные двери магазина, куда по утрам бежим занимать очередь за сметаной и молоком. Если бы не надо было сразу идти в эту больницу, то я сначала точно побежала бы к ресторанному крыльцу. Там, сразу за углом, течет Белая речка, а на другом берегу раскинулся яблоневый сад, в глубине которого покачивается всегда пустой гамак. Мама сует мне в руки судки и сумку с дождевиками и резиновыми сапогами. Надо шевелиться.

Но я уже успела поприветствовать Руха, наше настоящее с чужим, неизвестным нам прошлым, запятанным на кладбище и в белой церкви на Спокойной улице, в дальнем и близком лесу, в улицах и тропинках, ведущих к морю, в отрешенной улыбке и морщинистых лицах стариков Руха.

У нас прошлого нет, могилы отцов далеко, либо их прах давно пропал без вести. Мы живем в настоящем, вместе с жителями бывшего курорта, а теперь рабочего поселка Руха, куда приезжаем на каникулы каждое лето. В том самом настоящем, на предсказание которого жителям маленького приморского курорта когда-то не хватило ни лепестков ромашек, сорванных в ночь летнего солнцестояния, ни фантазии, а местным умникам – ума, чтобы понять, о чем переговаривались звери и птицы в волшебную ночь. А если бы и поняли, все равно бы не поверили. Ведь ни в Руха, ни в ближайших окрестностях, ни в их уезде, ни даже в столице никому и в голову не могло прийти, что самым востребованным материалом для будущего здания мира,

а вернее, для его базиса, станут кирпичи уникального образца, замешанные на телах и душах жителей Руха и других курортов, хуторов, деревень, уездов и городов их маленькой страны.

Мама, сестра и я идем по этому настоящему, с его пыльным, избитым заводскими самосвалами асфальтом. Мы идем по Советской улице, без прошлого, но с тяжелыми чемоданами и сумками, ручки которых больно врезаются в ладони, и дружно вдыхаем напоенный лесом и морем воздух. Справа тянется зеленый забор школьной территории. Там, где он кончается, растут акации, а за ними виднеется розовый дом, где мы когда-то отдыхали в большом классе на пятнадцать человек. Мы поставили чемоданы на траву, чтобы немного отдышаться. Перед розовым домом белеет широкая лестница, где сидела Марис, когда мы ночью шли к дому черного капитана. Сейчас там никого, только на скамейке под акациями толстая женщина в панаме читает книгу. Наверное, учительница, как и мама, и отдыхает в одном из классов розового дома. А нам Кульюс уже в прошлом году обещал что-нибудь устроить, чтобы нам не жить в школе, и сдержал свое обещание. Поэтому мы сейчас идем в больницу, которая то ли на Лесной, то ли на Сосновой улице за Белой речкой.

На улице пусто, как и на автобусной станции. Все отдыхающие – на пляже или стоят в очереди в рабочей столовой, а местные просто так по улицам не ходят в середине дня. Мама уже впереди шагает, а мы с сестрой еле плетемся. Вот мама остановилась, с кем-то поздоровалась и сразу дальше пошла спортивным шагом, пример нам подает своей бодростью. Мы ее догнали, а она нам говорит, что это была тетя Зина, банщица и несчастный человек. Я тетю Зину тоже знаю, ее все отдыхающие в поселке знают, даже те москвичи, которые на Спокойной улице комнаты снимают. Она маленькая и худая, с волосами мелким бесом, отбеленными перекисью водорода, и с черным пробором посередине, на злых тонких губах – ярко-красная помада. Она, когда в моечное отделение заходит шайки считать, всегда кричит визгливым голосом, что нечего в парилке так долго сидеть. А еще от нее после обеда водкой пахнет.

Когда я была маленькая, я думала, что тетя Зина живет в бане. А потом оказалось, что у нее с сыном в бараке за Советской улицей две комнаты. Через этого сына она и стала несчастным человеком и прославилась на весь поселок. Он в пьяной драке убил человека и теперь в тюрьме сидит. «Ему еще шестнадцать лет осталось, – говорит мама, когда мы начинаем спускаться по горке к мостику, и качает головой. – Детей надо хотеть и любить, а не заводить, как кошек подзаборных. Вот я всегда знала, что у меня будут две хорошие, умные дочки. Дышите полной грудью, девочки, вбирайте в себя море и сосны».

Больница – это старый деревянный дом с облупленной белой краской и с большой верандой, недалеко от Пионерской улицы, где живет Кульюс. Он нам объяснил, что в районе строят новую больницу, а эта пустует, и ее по знакомству иногда сдают дачникам. У нас здесь своя комната с тремя железными больничными кроватями. Мы хотели жить на веранде, тогда у нас было бы много света и свой вход, но сюда приедут другие люди, не через Кульюса, а через школьного бухгалтера.

Здесь лучше, чем в школе, и ближе к морю и лесу. И есть почти новая электрическая плитка, а около каждой кровати тумбочка, и свет вполне приличный, можно читать вечером. Но я мечтаю о Спокойной улице. Об ее тихих запущенных садах со старыми яблонями, об уютных деревянных домиках со стеклянными верандами, где целый день можно пить чай, о Белой речке, которая течет прямо за домами и которую слышно, если не гудит ветер в соснах. А в садах там вместо каминов и шикарных стульев-шезлонгов для загора, как на богатой улице, мшистые валуны ледникового периода, которым миллионы лет. И люди там не надменные и превозносящиеся, а какие-то печальные. И не видно их почти, как будто они в своих домах прячутся и в тени сада, не хотят лик свой обращать к настоящему, скрывают его, как красивый Томас от черной капитанши.

Я раньше Спокойной улицы боялась из-за кладбища. Мама мне говорила, что живых надо бояться больше, чем мертвых, но мне все равно было страшно проходить мимо низкой плит-

няковой ограды, за которой торчали кресты и надгробные камни. Особенно вечером, когда на свежих могилах горели свечки. А потом мне кто-то сказал, что это для астрального тела, которое первое время после смерти витает над могилой. И чтобы ему было не так страшно скоро навсегда расстаться со своей земной оболочкой, ему зажигают огоньки. И мне стало еще страшнее, но и интереснее. С тех пор я уже не поворачивала голову в другую сторону, когда мы вечером шли мимо кладбища, а наоборот, смотрела за ограду, не витает ли где-нибудь над могилой астральное тело. Пока мне опять не объяснили, что астральное тело – это что-то вроде души, то есть оно невидимое, и что нет, сердце – это одно, это анатомия, оно – часть тела, а душа – это совершенно другое. И что вот раньше были люди, которые верили в первичность души, а другие, наоборот, говорили, что бытие определяет сознание, попросту говоря, все начинается с тела и им же кончается, и между этими – начальной и конечной точками – телу надо есть, пить, защищаться от других тел, таких же голодных и жаждущих, и размножаться, чтобы количество превратилось в качество, и что эти другие в конце концов победили, и у нас теперь ни души, ни тела, ни материального благополучия. Так вот мы и стоим на мировом сквозняке, прикрытые лишь своим бранным, да еще и плохо одетым телом, по выражению одного забытого и совершенно замечательного писателя.

А кто-то из нашей компании начал говорить, что нечего ребенку голову морочить смесью вульгарного материализма и Шопенгауэра.

«Вы еще скажите, что я этому ребенку, не такой уж она и ребенок, между прочим, советскую мораль должен прививать в свободное от учебы время», – ответил мой просветитель, на что его оппонент возразил, что советской морали меня и в школе научат, а вот как насчет мирового разума как разумного начала всех наших мыслей и действий? Тут мой первый просветитель, это был один из москвичей, снимавших комнаты на Спокойной улице, вскричал, что гегельянцем, слава богу, никогда не был, и вообще, дражайший, посмотрите вокруг, нет, здесь крутить головой нечего, на этой улице эстонцы живут, цивилизованный народ, а вы посмотрите, что за Советской улицей творится. Да та же банщица тетя Зина, вот вам пожалуйста, воплощение мирового разума во всей своей красе. И уж точно логически постигаемого, вполне в духе идеалистического рационализма, можно сказать, его классический пример. Приехала откуда-то из Магадана, ну хорошо, пусть будет из Тульской области, разницы же здесь никакой нет, дражайший, для нашего с вами дискурса. Вот приехала сюда, уж наверное, лет двадцать назад, не меньше, комнату ей здесь пообещали в общежитии барачного типа. А почему не поехать? У нее на этом Магадане или в Тульской области ни кола ни двора, родители или в войну или сами знаете, где сгинули или спились, а тут на Запад ехать предлагают, в Эстонию. А заодно и дружбу народов укреплять, вот вам и интернационализм в чистом виде. Ну приехала сюда, без традиций, без корней, ребенка ей сразу в пьянке заляпали, кто – неизвестно, по-эстонски три слова выучила за двадцать лет: курат, курат и курат. А теперь сын загремел в тюрьму, года на двадцать два, и что с нее возьмешь, бедной? Да таких в одном этом поселке сотни, а по всей стране... а вот эстонцы, между прочим, что, не бедные? Вот вам и мировой разум, плод кабинетных абстракций бесполой немчурой, в конкретном исполнении, вполне постигаемый, это уж точно, но, к сожалению, по форме и содержанию не такой прекрасный, как хотелось бы, а вы говорите.

Они уже про меня давно забыли, тут уже кто-то и третий подключился, стал рассуждать про мир как юдоль плача, вздыханий и скрежета зубовного, где тети Зины и им подобные движутся по орбите слепых биологических мотиваций, а чем мы, собственно, лучше, ведь мы все без исключения рабы мировой воли, но все же различие между материализмом и идеализмом надо рассматривать шире, так как сознание и духовные ценности в конце концов – продукт деятельности нашего материального мозга. А оппонент моего просветителя стал опять возражать про мировой разум, что его не так поняли и что имелась в виду не диалектика, а понятие умозрения и рассудка, который способен оперировать категориями формальной логики.

«Ну вот вам и опять тетя Зина с ее вполне ограниченным рассудком, не способным выйти за пределы его содержания, а именно классовой борьбы и интернационализма, категорий формальной логики нашего пролетарского государства», – парировал мой просветитель.

Так за разговорами мы дошли до угла Спокойной улицы, где в темноте белела кладбищенская церковь, но потом повернули обратно, потому что еще не dospорили. Дошли до конца кладбища на середине улицы и опять повернули, но, дойдя до того же угла, снова решили пройти еще чуть-чуть назад, чтобы договорить о высшей форме диалектического развития государства, а именно о его отмирании, но теперь уже точно в последний раз.

Так что и у нас, современных дачников, тоже возникали свои традиции, а, значит, и прошлое, как и у жителей Руха. Например, после гостей мы всегда провожали друг друга домой. Мы ведь встречались раз в год летом, и нам было необходимо наговориться на прошедший и предстоящие годы. Поэтому всегда было трудно расставаться, и проводы иногда затягивались до глубокой ночи. Провожать шли всей компанией, сначала тех, кто жил дальше всех, а потом по мере сокращения радиуса. Шли обычно со Спокойной улицы, где снимали комнаты самые красноречивые и просвещенные дачники, из Москвы.

Иногда кто-то вспоминал, что на Спокойной улице все уже давно спят, и что мы все-таки в Европе находимся, и здесь свои обычаи, которые нужно уважать, а мы тут горланить под их окнами и тем самым подтверждаем образ варваров с восточного побережья. Тогда мы останавливались где-нибудь в самом начале улицы, где напротив кладбища еще не было домов, и все опять начинали спорить, просвещать более легковверных и ругать советскую власть.

Здесь, на пересечении шоссе, по которому автобус привозил нас в Руха, и Спокойной улицы, на том самом углу, где стояла белая церковь с заплатаанным темно-зеленым шпилем, я впервые услышала слово «тоталитарный». Как раз, когда повернулась лицом к крестам, из всех сил вглядываясь в темный воздух и пытаясь различить в нем контуры астрального тела.

«Да, дамы и господа, и вы, дражайший поклонник мирового разума, это печально, но факт, мы живем при тоталитарном режиме, и чем раньше наши дети поймут это, тем лучше. А вы, дорогие дети, вот вам и сказочка на ночь про доброго царя, который так любит свой народ, что объявил себя мировым разумом, правда, пока в пределах одной страны, на его же благо, чтобы народ не страдал от горя от ума, а заодно отменил и свободу воли, и прочие свободы, которые только мешают бескорыстно жить, строить и работать, и трех богатырей себе завел, верных до гроба, – бесстрашных чекистов, доблестную армию и любимую партию, – чтобы неусыпно заботились о народном счастье, охраняя его и день и ночь проверяя, счастлив ли каждый гражданин этого прекрасной страны и, самое главное, правильно ли его счастье»...

Только я отвлеклась от поисков астрального тела – теперь, когда я узнала, что оно невидимое, во мне вышло упрямство, с которым я продолжала высматривать его над крестами, – и стала слушать про это новое и странное слово «тоталитаризм», как рыжая учительница из Ленинграда, которая с детьми отдыхала в школе, начала дергать оратора со Спокойной улицы за рукав свитера. И, заметно волнуясь, заговорила, что муж у нее военный и уже двадцать лет верно служит родине, и что ведь родину не выбирают, и да, есть, конечно, недостатки в нашей стране, но ведь тот не ошибается, кто ничего не делает, и несмотря на то, что ее мать безвинно пострадала во время, ну вы знаете, какие тогда были времена, а что касается других, кто пострадал, это она не знает, но все-таки дыма без огня не бывает, а ее мать была кристально честной коммунисткой, тут уж она голову дает на отсечение. Вся компания загудела, а я опять повернулась к крестам, потому что мне стало скучно слушать рыжую учительницу, хотя она и говорила горячо и искренне.

«Ну, голубушка, насчет дыма и огня – это из той же оперы, что лес рубят, щепки летят. Так вот что я вам хочу сказать по этому поводу: как раз кристально чистых-то коммунистов, так называемых дворян революции, и пожирала в первую очередь по закону самой революции, ну и, конечно, чтобы генералиссимус Ус мог начать переделывать историю на собственный лад

и вкус», – начал мой просветитель, но учительница опять перебила его и сказала, что она рада, что ее дети остались дома и не слышат всей этой клеветы и иностранных слов, которые не имеют никакого отношения к нашей стране, и что у нее богатый педагогический опыт и она, хотя и преподает английский язык, на каждом уроке, даже когда разбирает герундий или плюсквамперфект, старается прививать своим ученикам любовь к родине, которую, между прочим, как мать, не выбирают.

Мне стало интересно, что же теперь ответит наш просветитель. Но тут вмешалась его жена, которая сказала, что вообще-то уже поздно и, наверное, пора расходиться, а то всю улицу перебудим.

– Да, кстати, а кто-нибудь черную капитаншу в этом году уже видел? – вдруг спросил кто-то на прощание. – У нее сын, говорят, совсем от рук отбился.

– Это который?

– Да красивый этот, с волчьими глазами.

– Тот, что на черного капитана похож, – это уже я выпалила, и все одновременно на меня уставились.

– А ты-то откуда знаешь? Его ж не видел никто.

Тут я совсем осмелела:

– Она его у себя в погребе прячет.

– Ну ты даешь. Еще скажи, она его там на цепи держит.

– Она у себя тоталитарный режим развела, всех мучает и работать заставляет на свой дом. А Томас не хочет, он гордый и страдает, у него на лбу знак мучений черного капитана.

– Ты смотри, какая просвещенная. Тоталитарный режим, хухры-мухры. В школе только не показывай, что такая умная, а то папе с мамой не поздоровится, – сказал один дачник, тоже из Москвы, и прибавил: – Прямо демон какой-то этот твой Томас. Ты что, влюбилась в него, что ли?

– Да не демон он, а дитя Брежнева, наше будущее поколение, – ответила жена нашего оратора. – Поколение ноль без палочки. Чего вы от них хотите?

А рыжая учительница подошла к моей маме и стала ей что-то с возмущением говорить, но та молчала и только внимательно смотрела на меня.

– А почему не влюбиться? – крикнул кто-то. – Влюбиться – это хорошо. Любви все возрасты покорны, а что не так?

Тут опять начался спор, в каком возрасте положено влюбляться. Вон Джульетте было всего двенадцать, а какая любовь космического масштаба.

– Совсем с ума сошли, двенадцать лет, – закричали дачницы. – Пускай сначала школу закончат, высшее образование получают, кандидатскую защитят, а потом уже о любви думают, а то будут как тети Зины.

Но тот дачник, который начал про Джульетту, стал трясти рукой перед животом, дергаться всем телом, вилять бедрами, а потом запел во все горло полуподпольного, знаменитого не по телевизору и радио барда: «Не хочу учиться, а хочу жениться».

Все захохотали, даже рыжая учительница, совершенно забыв и про меня, и про Томаса, и про черного капитана, и про то, что мы в конце концов находимся почти в Европе их мечтаний, где уважают чужой сон, частную собственность и могилы отцов и где настоящее вытекает из прошлого, медленно и плавно, как змея, по весне сбрасывающая кожу, а поэтому жители, ложась спать, знают, что они утром проснутся в своей постели.

Спокойная улица молчала своим затаенным прошлым, молчали кладбище и белая церковь, молчали запущенные сады и деревянные дома с темными верандами и их обитатели, лежащие в постелях и бежавшие в свои сны от настоящего, молчали их собаки, и яблони, и кусты красной смородины, и клумбы с ромашками и ноготками, как будто они всё еще приходили в себя после чудовищного смерча, перенесшего их в одно мгновение в будущее, где

они перестали узнавать себя и друг друга и так и жили, ничего не ожидая и не веря ни себе, ни другим.

Молчал и Томас, неподвижно стоящий перед вопившей капитаншей, нездешний по своей красоте, но как будто связанный незримыми нитями с этим затаенным прошлым, неизвестным и не очень-то интересным большинству дачников, которые раз в год летом приезжали сюда восстанавливать здоровье и заготавливать на зиму грибы и ягоды. Дачники любили Руха и чувствовали себя здесь как дома. Ведь Руха – это была их собственная, карманная Европа, где им к тому же все было понятно, потому что жители Руха научились говорить на их языке.

В этой культурной и чистенькой Европе с уютными домиками и прекрасными дорогами дачники отдыхали от запустения и бессмыслицы, все больше заполнявших просторы их огромной страны. Они прямо-таки возрождались на этом воздухе, напоенном морем, соснами и остатками европейской свободы, а поэтому постоянно хохотали, спорили, вели бесконечные разговоры, критиковали советскую власть, подражали знаменитому барду и опять начинали смеяться во все горло.

Всё вокруг молчало, только журчала Белая речка, убаюкивая Спокойную улицу и как будто утешая ее. В садах, между яблонями и березами, чернели древние валуны, миллионы лет пребывающие в покое после бурных странствий. За это время небо над Руха бывало то ясным, то мрачным.

За прошедший год капитанша отстроила себе сауну и еще больше раздалась. Из-за того, что лицо у нее потолстело, глаза совсем сузились, и поэтому казалось, что она все время улыбается. Когда она рассказывала о еще не распакованной югославской темно-коричневой полированной спальне с большим зеркалом, где она будет спать с черным капитаном осенью, то в этой улыбке участвовали и ее губы.

В гостиной мебель была уже расставлена, и одна ее знакомая, муж которой работал на фанерно-мебельном комбинате в Таллинне, обещала подобрать ей два польских пуфика под цвет гарнитура.

Ни мальчишек, ни обезьянки капитанша уже не боялась, и поэтому улыбка продолжала играть на ее губах. Мальчишки выросли, а Томас, так тот вообще на второй этаж не поднимается, да и в гостиную заходил всего два раза. А про обезьянку она им так прямо и сказала, что она ей сразу шею свернет, вот и думайте сами дальше. Так что гарнитур у нее теперь в полной безопасности, и за чешский хрусталь в серванте душа у нее тоже больше не болит, с тех пор как мальчишки по дому перестали носиться.

Тут Эрика стала поджимать губы, и на лице у нее изобразилось что-то вроде смущения. Вспомнила, видно, что уже который год нас к себе в гости зовет на голубой финский унитаз посмотреть, который она достала через свой колхоз, и на югославский гарнитур, и на спальню, хоть она еще и запакованная, ну и вообще, дом показать, в котором она с черным капитаном для своих мальчишек будущее строит.

А потом на лице у нее вдруг появилось плаксивое выражение, и она стала говорить, что отдает все свои силы и здоровье на дом и на сад, чтобы ее дети жили не хуже, чем дети на богатой улице, а им плевать на нее, как будто она им не мать родная, а пьяница тетя Зина.

Вот Мати, если его не подгонять все время, целыми днями будет в постели валяться, а Томас вообще с ней перестал разговаривать, курит в открытую и пропадает где-то. Его уже и за Советской улицей видели, а один раз он даже ночевать не пришел, и все бесполезно. И Кульюс с ним ничего не может поделать. Томас молчит как могила, и никто не знает, что у него на уме. И откуда он сигареты достает, неизвестно.

Ну чего ему не хватает, ведь дом у них – полная чаша, вот уже и сауну построили, и машину собираются покупать. А когда мама у нее спросила, что их отец по этому поводу

думает, капитанша только рукой махнула, верхнюю губу прикусила и глаза у нее еще больше сузились.

Так и непонятно, что она этим хотела сказать, и, чтобы ее не расстраивать, мы больше ничего не стали спрашивать, а попрощались и пошли дальше, на Спокойную улицу, где мы собирались у москвичей, снимавших там в самом конце две комнаты и веранду. И капитанша пошла по своим делам, в сторону универмага, а потом нас опять окликнула:

– Вы про Виктора-то слышали?

А когда мы спросили, про какого Виктора, и что нет, ничего не знаем, то Эрика, которая уже дошла до будки с мороженым, стала кричать, чтобы нам лучше было слышно. Оказывается, этот Виктор с улицы Ленина за Советской улицей, там, где дома двухэтажные напротив завода, вчера вернулся из армии, а сегодня ночью уже то ли утонул, то ли его ножом пырнули, никто точно не знает. А компания, с которой он праздновал свое возвращение, только просыпается, так что допрашивать пока тоже некого.

– Ну ничего, вот очухаются, допросят их и посадят, кого надо, – прокричала капитанша и отправилась дальше.

Мы шли по богатой улице, пытаюсь вспомнить Виктора, которого никто из нас никогда не видел, а если и видел, то не мог знать, что это он. Мы ведь за Советскую улицу только в баню ходим, бодрым шагом туда и обратно. Мама это место не любит, хотя мы татары и по крови ближе к русским, чем эстонцы, которые теперь по-братски делят свое настоящее с дальними народами с восточного побережья.

Мама говорит, там пьянство и мерзость запустения, но что люди не виноваты, их такими сделали, а вот эстонцы этой жизни уж никак не заслужили, они ведь не такие, они раньше в Европе жили.

Нет, мы его точно не видели, этого Виктора. Он же в армии был два года, а вернулся только вчера, и вот уже лег где-то утопленником или с ножевой раной в сердце и ждет теперь, пока его не повезут на Спокойную улицу. И пока не ляжет он там рядом со старыми мертвыми Руха, рядом с их гробами, перевязанными красной шерстяной ниткой или под подгнившим осиновым колом в земле. И даже если ему не достанется места около белой церкви под сенью старых деревьев, поближе к райским кущам, и его положат на новую часть, там, где раньше было пастбище, под православным крестом или конусообразным бетонным памятником с советской звездой наверху, куда вставят его круглую черно-белую фотографию в светлой рубашке с открытым воротом, это если его родители коммунисты и против креста, то он все равно станет частью прошлого жителей Руха, как и все другие новые мертвые, сыновья, дочери и внуки дальних народов, которые все шире раздвигают своими телами границы старого кладбища, так что скоро придется рубить и лес за пастбищем, чтобы вместить сюда новое прошлое Руха.

А сразу после похорон над могилой неизвестного Виктора будет витать его астральное тело, недоумевая, что же случилось с его земной оболочкой, которая лежит теперь в земле, не отвечая на его вопросы. Бедное астральное тело Виктора с улицы Ленина, в двадцать лет по пьянке сгинувшего в карьере за Советской улицей или погибшего от удара ножом, да так быстро, что оно ничего и заметить не успело. Бедная его глупая душа. Вот она парит над свежим холмиком земли, куда исчезла земная оболочка, к которой она успела привыкнуть за двадцать лет, с ужасом чувствуя, что на нее уже не действует закон тяготения и что скоро она навсегда покинет землю, так и не поняв, что произошло. Огни земных свечек на могиле всё дальше отдаляются от ее размытого слезами взгляда, холод вселенной, освещенной мириадами звезд, проникает в ее бесплотность и всасывает ее в себя.

– Ребят, да какая разница, что мы этого Виктора в глаза не видели, – говорил наш друг Михаил, снимавший с женой и дочерью комнаты и веранду в конце Спокойной улицы, то ли приветствуя нас, то ли продолжая разговор, начатый в доме, где уже сидела вся компания.

Несмотря на летаргию, в которой пребывала Спокойная улица, новости доходили до нее мгновенно.

– Абсолютно никакой, учитывая, что мы прекрасно знаем, кто он, этот Виктор, даже ни разу не взглянув на него, да?

«Униженный и оскорбленный советской цивилизацией!», «Жертва алкогольной политики компартии вкупе с винно-водочной промышленностью!», «Косвенная жертва империалистической национальной политики СССР!», «Прямая жертва токсикоза русского генофонда!» – наперебой закричали из комнаты.

– Несчастный мальчишка, сын таких же несчастных родителей, родившихся в несчастной стране, – сказала Ирина, жена Михаила, которая вышла в коридор с сигаретой и чайником. – Проходите, проходите, сейчас чай будем пить с пирогом. Олька испекла, с малиной.

– Вот именно, несчастный мальчишка, – подтвердил Михаил.

– И все-таки, кто виноват? – спросила мама. – Родители, школа, друзья, сам Виктор?

Как учительнице, ей всегда хотелось довести любую проблему до логического завершения, чтобы получилась некая формула, величины которой находились с друг другом в причинно-следственной связи. Тогда дело сразу бы приняло конкретный оборот, и можно было бы приложить к нему руки. Например, провести воспитательную беседу с родителями, или отчитать виновного, а то и принять более строгие меры, отправив его к директору, или, наоборот, начать неформально и горячо участвовать в его судьбе, строча длинные письма по воспитанию чувств, что моя мама иногда и делала с теми учениками, которых еще надеялась спасти.

– Кто виноват, милочка, это извечный проклятый русский вопрос, над ним бьются столетиями, достаточно безрезультатно, но это отнюдь не значит, что мы должны отказаться от него. Если его пырнули ножом, то посадят всю компанию на всякий случай. Никто же не будет разбираться, кто его конкретно прикончил, – сказал Олег, московский приятель Михаила, который на прошлой неделе поселился у них на веранде. – Да и поди разберись там, кто кого, а раз по пьянке, то по четвертаку дадут, не меньше. Отягчающие обстоятельства. Ну может, лет восемнадцать, если судья совестливый попадетсЯ. Вот тебе и виновные. Жратва государства, и жертва.

– А если утонул? – спросила хрупкая Наташа с коротко стриженными серебристыми волосами и крупными висячими серьгами, подруга Олега, с которой он жил на веранде.

Мама Наташу недолюбливала. Во-первых, потому что она не была женой Олега. Жена Олега приезжала в Руха в прошлом году, мы тогда с ней у Михаила познакомились, а в этом году она осталась в Москве поддерживать дочь, которая сдавала вступительные экзамены в университет. Во-вторых, маме не нравилось, что Наташа красила ногти на ногах ярко-красным лаком. А в третьих, мама считала Наташу легкомысленной и хищницей и не понимала, как Михаил с Ириной соглашались терпеть такое поведение на веранде прямо у себя под носом.

Но у Михаила с Ириной был свой кодекс законов. Они, в частности, глубоко чтити законы гостеприимства. В их маленьком и, как они называли его, антитоталитарном, вольнодумно-просвещенном государстве, состоящем из Михаила, Ирины, их дочери Анны, постоянно живущей у них подруги, помощницы и экономки Ольги и двух котов Кински и Киссинджера, друг всегда оставался другом и в любую погоду мог без всяких объяснений найти у них приют.

Олег слегка хлопнул Наташу по гладкой загорелой ноге, и та благоговейно посмотрела на него снизу вверх, кокетливо раскачивая на пальцах с блестящими красными ногтями затейливый, розово-золотой индийский шлепанец, которые были в моде в Москве.

– А если утонул, шер Натали, то все равно посадят, чтоб другим было неповадно. Но дадут поменьше. В районе десятки.

– А как же презумпция невинности? – опять спросила Наташа, вскинув глаза на Олега.

– Люблю умных девушек. Но, шер Натали, презумпция невиновности – это все сухая теория, а дерево жизни, как нам известно, зеленеет пышно. Так что на практике у нас как раз презумпция виновности, ну, сами посудите, разве у нас на Руси могут быть невиновные? Великий красный юрист товарищ Вышинский уже в начале тридцатых писал, что главное доказательство вины – это признание обвиняемого. Ну, что-что, а здесь у нас дело хорошо поставлено. Там кто хошь во всем что хошь признается, да хоть что сын японского императора или, скажем, сидя в Урюпинске, хотел взорвать Кремль. Богатый исторический опыт. Как говорится, был бы человек, а статья найдется. Ну а всякие там презумпции невиновности, разделение властей, независимость судей и прочие буржуазные штучки для защиты граждан от государства – это все для гнилого Запада. Так что, шер Натали, вот вам мой добрый, чисто отеческий совет. Пейте водку в умеренном количестве и не связывайтесь с сомнительными компаниями, а то не дай бог... и нашим прелестным пальчикам будет уже не до лаков и золотых туфелек. Советский пенитенциарий – это вам не старорежимные тюрьмы. Уж поверьте мне, старому псу, которому не раз в жизни ломали бока.

– Брр... – поежилась Наташа и перестала болтать ногой.

– Да ладно тебе, Олег, детей пугать...

Все уже разместились на стульях, табуретках, продавленном диване и подоконниках, кто на веранде, кто в комнате с круглым столом, а кто на кухне, которую эстонцы со Спокойной улицы, в виде исключения и особого расположения, сдавали Михаилу и Ирине, и Ирина начала разливать чай. Сама она почти никогда не сидела, все время хлопотала, ходила туда-сюда с неизменной сигаретой в зубах и при этом успевала следить за всеми и принимать самое живое участие в разговоре.

– Это называется не пугать, а просвещать, моя дражайшая Марфа-Мария, – сказал Михаил, как он иногда называл Ирину, подчеркивая ее совершенство, – чтобы дети учились соображать, да? Все правильно, Олег. Будем называть вещи своими именами в духе коммунистического манифеста.

Сегодня на Спокойной улице собралась избранная компания. Рыжей учительницы из Ленинграда и других более или менее случайных или уж слишком правоверных попутчиков на чай не звали.

А друзья и подруги проверенных друзей и подруг, где бы они в данный момент ни находились – в Москве, Ленинграде, Таллинне, в ссылке где-нибудь в Казахстане, в деревне под Оленегорском, или в одном из Челябинсков, либо в Америке, Израиле или в Вене по пути в Израиль, – всегда пользовались неограниченным доверием, даже если они этих друзей и подруг раньше и в глаза не видели. Как например, Соню и Володю, друзей эмигрировавшего в США художника Полякова, или ту же самую Наташу с модными серебряными волосами, подругу подпольного поэта и по совместительству фарцовщика Олега.

Поэтому Ирина сейчас была больше озабочена, чтобы всем хватило чашек и Ольгиного пирога с малиной, чем красноречием Михаила, достигавшим особенно опасных высот, когда он начинал ругать советскую власть.

Советскую власть Михаил ругал со вкусом, вдохновенно, можно сказать, с любовью. Если по необходимости и употреблял нецензурные слова, то всегда осмысленно, интегрируя их в емкие сложноподчиненные предложения с причастными и деепричастными оборотами, по образцу русской классической литературы, так что получалось академически-изысканно и в то же время как-то прочувствованно, близко к слушателю. При этом Михаил почти никогда не злился – наоборот, на лице у него играла мягкая улыбочка, как будто советская власть за все время их совместного существования стала для него чем-то вроде члена семьи, угрюмо и прочно расположившегося прямо посреди большой комнаты и отбрасывающего черные тени на потолки и стены малогабаритной квартиры.

Этот неизбежный, всемогущий и беспощадный родственник мог сделать с Михаилом все то, на что жителям Руха когда-то не хватило ни лепестков ромашек, ни фантазии. Кроме одного – обмануть его. Какие бы уловки советская власть ни придумывала, чтобы скрыть от него свое истинное лицо, Михаила было не провести.

За это она ненавидела его, следила за всеми его действиями, лишала его средств к существованию, а он все продолжал улыбаться такой вот своей мягкой и всепроникающей, как у Чеширского кота, улыбкой.

Михаил знал советскую власть насквозь, так же, как и жители Руха, бывшей раньше пусть и скромным, но вполне светским курортом, а теперь – заводским поселком, где поселились дальние народы, которые рожают детей, как подзаборных кошек, а потом эти дети спиваются или погибают в пьяных драках.

Но жители Руха молча несли в себе это знание, так же молча передавая его своим детям, а иногда шепотом рассказывая им о стихийном бедствии, которое когда-то постигло их поселение и всю их маленькую страну, после чего в Руха появилась Советская улица, где на пыльном, избитом заводскими самосвалами асфальте шаги их детей и внуков сплетались с шагами детей и внуков дальних народов, образуя гордиев узел.

Жители Руха еще не успели изжить свой страх, который все еще понижал их голос до шепота, заставлял опускать взгляд долу и, огибая настоящее, устремлять его в прошлое, затаившееся в безмолвии тенистых садов, в журчании Белой речки, в мерцании белой церкви. Проблему души жители Руха разрешили, растворившись в своем ландшафте, застыв и приняв на время облик камней, деревьев и воды, которым издавна верили больше, чем занесенному немецкими рыцарями верховному существу, и втайне надеясь, что небо над валунами в их садах, повидавшими все на своем веку, опять когда-нибудь прояснится.

Михаил же казался свободным от страха и всех тех человеческих проявлений, которыми, как паутиной, были опутаны другие люди. Как будто самое главное в его жизни подчинилось лишь одному этому знанию, а все остальное просто терпелось как досадное приложение к досадному и обидному производному нашего духа – телу. Так что смех Михаила предназначался, кроме советской власти, еще одному противнику, смеющему претендовать на его бессмертный дух, – нашей трусливой и ненасытной, беспрерывно пожирающей и опорожняющей брэнной оболочке.

Поэтому он и не думал молчать, а постоянно завораживал и обезвреживал свое тело, размышляя, рассуждая, объясняя, анализируя, убеждая, споря и просвещая всех без исключения, переступавших порог его дома в Москве или в Руха.

Быть может, он надеялся, что мы, дети его друзей, передадим это знание нашим детям и друзьям, а те – своим детям и друзьям, все расширяя и расширяя магический круг, по принципу противления злу добром истины, пока не возникнет что-то вроде цепной реакции, в результате чего все это знание в виде огромного облака, сконденсированного из тысячи и тысячи идей, воспарит над нашими телами и разольется наконец в тот разрыв памяти, который произошел между нашим прошлым и будущим, превратив настоящее в мерзость запустения, от которой люди спасаются в пьяном угаре, голубых финских унитазах и превознесенных домах.

Пока же до идеалистической революции еще было далеко. Поэтому Михаил уселся за столом на кухне, наблюдая, как Ольга, маленькая женщина неопределенного возраста с добрым лицом и копной кудрявых волос, разрежала пирог с малиной, и рассуждая о советской юстиции.

– А то, что этим мальчишкам в лучшем случае влепят по десятке, если Виктор утонул, так это вполне марксистско-ленинский подход, да? У нас ведь законы основаны на обществе, а не наоборот. Законы – это все фантазии юристов, как говаривал Маркс, а вот настоящий закон должен быть выражением общих интересов и потребностей общества, вытекающих из данного материального способа производства. А какие потребности могут быть у общества, по существу находящегося в состоянии затянувшейся войны, которая все время меняет форму и

окраску? Ленина надо почаще читать на сон грядущий, да? Теперь эта война приняла образ и форму узаконенного террора, который осуществляется через наше законодательство и судопроизводство. Так что, ребята, не имеет ровно никакого значения, кто кого пырнул или толкнул в воду, Иван Петра или Петр Василия, главное, что скоро свершится акт правосудия, виновные будут наказаны, и народ будет доволен. А адвокаты тут вообще ни при чем. Какие могут быть здесь нахер адвокаты, когда всё в руках пролетариата, высшим выразителем интересов которого является партия, которая лучше самих масс знает, каковы их истинные интересы... А вот и Лембит, здравствуйте, здравствуйте.

Михаил встал со стула и пожал руку высокому худому старику с обветренным лицом, хозяину дома, который, постучавшись в открытую дверь, вошел в кухню из сада, распространяя вокруг себя запах салаки, табака и ветра.

– Пирог будете? – спросила Ольга, но Лембит только заулыбался в ответ и замахал руками.

– Лембиту надо что-нибудь покрепче, Марфа-Мария, он у нас ветеран Освободительной войны, – сказал Михаил, но Ирина уже сама вытаскивала из буфета бутылку.

– В субботу баня топить, – сказал Лембит, – потому пришел.

– Ну раз пришли, надо выпить, – сказал Михаил, подмигнув, и вытащил пару стопок. – А баня – это хорошо.

Лембит засмеялся и сел на табуретку.

– Я на минутку, Эльза прислал.

– А как Эльза поживает? Помогает ей лекарство?

– Очень хорошо, – закивал Лембит и чокнулся с Михаилом. – Хорошо помогает.

Когда Лембит и Михаил общались, лица их смягчались, как будто они были старинными друзьями, которые когда-то пережили что-то вместе и теперь им сразу все понятно друг про друга.

Иногда Михаил мог увести Лембита куда-нибудь в сторону от вечно галдящей компании, посадить на стул, самому сесть напротив и долго расспрашивать его о чем-то, а потом, потирая руки, ходить по комнате с довольным видом, узнав, например, что Лембит участвовал в Освободительной войне 1918 года, которую замалчивали все наши учебники истории, чтобы не бросать тень на солнечные пейзажи дружбы народов, а также чтоб никто вдруг не подумал, что некое маленькое, получухонское племя на западной окраине империи могло претендовать на свою собственную историю, существующую вне воли и представления великого соседнего народа.

Хотя Лембит так и не научился хорошо говорить по-русски, а Михаил не знал эстонского, они понимали друг друга каким-то внутренним чутьем и симпатией.

Старый рыбак Лембит застенчиво улыбался, его большие костистые руки ерзали на коленях, страдая от своей ненужности, ему был явно странен и приятен такой интерес к своей персоне, о которой он сам, судя по всему, особенно не ломал голову.

Михаил же чуть ли не хлопал себя по бокам от восторга, созерцая живой экспонат тайной истории и пополняя свой клад еще одной крупинкой золота, добытой на этой бедной кухне без горячей воды, и тем самым хотя бы на миллиметр приближая возделенную идеалистическую революцию, которая когда-нибудь обязательно спасет его несчастную землю, и будет она отдыхать, покоиться и восклицать от радости под кипарисами и кедрами, ибо наполнится наконец ведением, как воды наполняют море.

На обратном пути мы снова встретили капитаншу. Она уже издали замахала нам рукой, поднимаясь по горке к богатой улице, чтобы мы не поворачивали на Морскую, а ждали ее там на углу. Вот она дошла, со вздохом приставила две тяжелые сумки к ногам и с таким видом, будто ей бесплатно привезли еще один финский унитаз небесно-голубого цвета, объявила:

– А Виктора-то все-таки ножом пырнули.

Мама покачала головой и промолчала, переваривая сообщение.

– Вы там пока языком чесали, милиция во всем разобралась.

Мама опять ничего не сказала, а решила подождать, пока Эрика не расскажет, в чем разобралась милиция. Но Эрика почему-то тоже замолчала.

– Так они же спали еще утром, – сказала мама.

– Это утром было, а следовательно днем приехал из райцентра.

– И что?

– А то, что душ для чего? Не только ведь для гигиены. Их раз – под холодный душ, вот они сразу и очухались, и заговорили, как миленькие.

– И?

– А что «и»? Признались, значит, сразу в своих преступлениях.

– Как же все произошло? Что, уже и доказательства есть?

– А что доказательства? И так все ясно. Это девка его во всем виновата.

– Какая девка?

– Да Осипова Танька. Невеста его.

– Это что, она Виктора ножом ударила, получается?

– Зачем она? Она его после армии обещала ждать, а сама с другом его спуталась.

– Какое же это преступление?

– Так у нее брюхо теперь, он-то не знал, думал, она его ждала. А она вон как, брюхо себе отравила, только он сначала не знал, у ней еще не так видно.

Эрика прищурила глаза и стала ждать, что скажет мама. А поскольку мама молчала, капитанша опять заговорила, сменив легкое злорадство, от которого рдело ее лицо, пока она говорила о брюхе Тани Осиповой, на сочувственное выражение, направленное, правда, не на Виктора и его невесту, а на маму, женщину с высшим образованием, никак не понимавшую самых простых жизненных вещей.

– Так они сначала напились, а потом он уже узнал, то ли она ему сама по пьянке проболталась, когда они уже у карьера были, то ли друг этот выступил, ну и началась драка, а кто его точно ножом ударил, а потом в воду сбросил, чтобы следы скрыть, сам черт не узнает. Они же все вдрызг пьяные были, но главное-то, что признались, вот что.

– А девушка эта? Она же беременная. Им адвокат нужен.

– И она, говорят, призналась. А что? Она больше всех и виновата. Раньше надо было думать, тогда и брюха бы не было, ну ничего, в тюрьме поумнеют, алкоголики они все, туда им и дорога. А что с того, что беременная? Что она теперь, из-за этого чудо-юдо какое? Не она первая, не она последняя. Ничего, и в тюрьме рожают, а если что, так государство воспитает, не хуже ее. А адвокат-то зачем? Чего ему их защищать, когда и так все ясно, только деньги государственные переводить. Алкоголики они все, я ж говорю, поселковые эти. А у меня вот за Томаса душа болит, нет, не за Мати, он ленивый, ему лишь бы поспать да покушать, а Томас в отца, беспокойный, гордый, тоже днями может не есть, чем живет, не знаю, и ничего ему не нужно. Ни дом, ни сад, ни сауна, ни гарнитур югославский. Другой бы радовался на его месте, что все заграничное, красивое, не хуже, чем у соседей, а он плюет на наш базис, на наши пот и кровь, обезьянку ему, видишь ли, подавай, чтобы она мне все в доме изгадила. Может, когда машину купим, то повеселеет наконец, а, как вы думаете? Вы его случайно не видели? Нет? И я не видела, и вчера тоже нет, я его сегодня уже целый день ищу, вы думаете, он в лесу ножик свой метает? Нет, он его давно забросил, все ему скучно, я уж весь поселок исходила, думала, может он с компанией какой связался, ну ладно, дальше пошла искать... Томас, Тоомас, ТООМААС! ТООМААС!

Так мы и разошлись на углу богатой и Морской улиц. Черная капитанша медленно потопала со своими сумками в сторону моря, озираясь и выкрикивая имя сына, а мы стали спускаться к мостику, который уже почти слился с сумеречным воздухом.

Я тоже смотрела по сторонам и, куда бы ни упирался мой взгляд – в смурной малинник, пустые качели в саду, ветки яблони, гнущиеся под тяжестью плодов, тускло-желтый свет окон или в черную дыру еще распахнутой двери, – передо мной все время всплывало лицо с зелеными глазами, твердыми молчаливыми губами и с трагическим знаком черного капитана, не похожее ни на одно лицо, виденное мною, наяву или во сне.

«ТООМААС! ТООМААС!» – все кричала капитанша, как будто искала сбежавшую собаку, и мне стало смешно, что вот, он везде, а она его не видит.

Дом

Никто точно не знает, когда в Руха проложили Советскую улицу.

«Какая разница, – говорили местные эстонцы, – прошлого-то уже не вернешь. Да когда эту махину построили, тогда и проложили, наверное».

И, не оборачиваясь, тыкали большим пальцем за плечо, указывая на махину. В какой бы точке поселка они ни находились, они всегда умудрялись оставлять ее за спиной. Хотя завод, растянувшийся вдоль моря, как горная цепь из грязно-серой породы, запер большую часть залива, он все время ускользал из их поля зрения.

Потом эстонцы махали рукой – «жить-то надо» – и двигались дальше. Дачникам же было неинтересно, да и некогда думать о прошлом любимого европейского курорта, в который они ездили каждое лето. Они и так были заняты с утра до вечера, добывая продукты в магазине у автобусной станции на полноценный обед с супом, грея в баках на плите воду для стирки, чтобы их дети ходили в Европе в чистых носках, и часами болтая и помешивая в кипящих кастрюлях с черникой и грибами. А у жителей восточного побережья было как-то неохота спрашивать про Советскую улицу. Как будто в этом вопросе таился намек, что, мол, срок истек и пора возвращаться, откуда приехали.

И все-таки. Когда бы ее ни проложили, казалось, что Советская улица лежала в Руха всегда. Было в ней что-то от вечности, но не от того пугающего, беззвездного, черного пространства, где становится неуютно даже человеческой мысли. Нет, Советская улица находилась в другом ее отделе. В том сером, обыденном, но в таком же до ужаса беззвездном пространстве, где побывал человек. Оставив после себя безжизненность и пыль, которую ветер теперь разносил по окрестностям и которая таким же безжизненным слоем ложилась на дома, деревья и лица людей.

Иногда, как и полагается вечности, она раскрывала пасть и поглощала случайных прохожих. Так, однажды в конце Советской улицы, почти у входа на территорию завода, самосвал, не удержавшись на повороте, вдавил в бетонный забор ученицу седьмого класса. Никто так и не узнал, пьян ли был заводской шофер, посадили ли его или обошлись выговором. Вечность не любила выдавать свои тайны.

Иногда на этой улице тихо пропадали алкоголики. Или утром в кустах напротив кинотеатра «Заря» находили безжизненное тело кого-то из местной шпаны, на что жители Руха обоих побережий резонно замечали, что теперь хоть ненадолго, но будет потише.

Сейчас на Советской улице буянил отец Виктора. В мешковатом черном костюме, на лацкане которого болтались два ордена Красной звезды, и в белой, застегнутой до горла рубашке, еще с похорон, он бегал по улице и орал, что подонков надо к стенке и суку эту вместе с ними. И что он ветеран, и дошел до Берлина, и там таких сволочей расстреливали на месте.

Его забирала милиция, а он опять возвращался в том же костюме с бряцающими медалями и в той же замусоленной рубашке, небритый и шатающийся от водки и ярости. И начинал кричать, что они освободили Эстонию от фашистской чумы и кости его товарищей гниют в чужой земле.

Мужики уводили его, но отец Виктора снова возвращался, шатаясь, теперь уже от слабости, в жеваном, посеревшем от пыли костюме. Он уже не кричал, а спрашивал, а потом слезливо молил прохожих, не видели ли они его Виктора. От него шарахались, но он не отставал и все повторял, что, вот, поймите, ребята, он же не может уйти, вдруг сын сюда вернется, а его нет, кто же его тогда домой приведет.

Тогда Пааво, эстонец из букинистического магазина, вышел на улицу и сказал, что он будет смотреть, не идет ли Виктор. У него же окна выходят прямо на Советскую улицу, а ты пойдешь поспи пока, я тебя сразу предупредю, когда он появится. Но отец Виктора захихикал

и погрозил Пааво черным пальцем. А потом заплакал и сказал, что теперь только он сможет узнать Виктора после всего, что произошло. И поэтому не имеет право оставить свой пост. Сказал и перекрестился.

Скоро на него перестали обращать внимание. Но какую-то еду приносили и ставили на скамейку перед «Зарей». Отец Виктора все бродил по Советской улице, то крестясь, то грозя кулаком небу. А когда у него не стало сил ни на то, ни на другое, он просто шаркал туда-сюда по избитому асфальту, как будто все ждал, что вечность поглотит его так же, как и Виктора. И тогда его астральное тело еще успеет притулиться к душе сына. Сколько все это продолжалось, никто точно не знает, но известно одно – отец Виктора уложился в срок. Топиться в карьере, где утонул Виктор, он не хотел, а машины его не брали, хотя по ночам он бродил по самой середине улицы. Но все автомобилисты в округе уже знали про него и поэтому проезжали через Руха пешим ходом. Тогда, видимо, испугавшись, что он не успеет и Виктор отправится во все-ленское путешествие в одиночку, отец добрался до ворот завода, откуда рано утром выезжали самосвалы, груженные бетоном, и лег перед ними, с головой накрывшись пиджаком.

Это нам уже следующим летом, почесывая голову, рассказал Пааво из букинистического магазина, местный эстонец с длинными, всегда жирноватыми волосами:

– Двадцать три дня прошло. Я считал. Нервный стал, ужас. Я ему: куда спешить, сорок дней будут долго идти. Думал, в себя придет. А он наоборот. Потом мне уже не верил. Врешь, говорит, фриц, вы же с ними заодно были, а мои товарищи теперь в болоте вашем чухонском гниют. Говори правду, сколько дней осталось? У него ведь уже свое время пошло. А так в Руха всё как всегда, – сказал Пааво, без выражения глядя в окно, – то есть как было, есть и будет, пока он, – тут Пааво провел указательным пальцем круг в воздухе, подтверждая его, великого вождя, вездесущность, – жил, жив и будет жить.

И так и оставался у окна, пока мы не ушли. Позже, проходя мимо магазина, мы часто видели, как Пааво стоял перед окном, как будто поджидая кого-то. Значит, все-таки что-то изменилось в Руха со смерти Виктора?

Народ потом все еще качал головой, проходя по Советской улице, где двадцать три дня бушевал отец Виктора. Русские – с сочувствием, а эстонцы, кроме Пааво, – недоумевая, как будто жители восточного побережья опять задали им очередную загадку. Даже какая-то обида сквозила в их глазах на своих беспутных сожителей, мечущихся между смутной от водки и мерзости памятью о своем боге и пылью Советской улицы. Они даже умереть не могли прилично, в собственной постели или хотя бы в хронологическом порядке, по старшинству, и не выворачивая нутро в общественном месте, пугая прохожих.

«А все-таки нам легче, наверное», – как-то сказал Пааво, задумчиво глядя в окно. Что он имел в виду? Но Пааво только пожал плечами и стал заворачивать в газету томик Александра Блока. Может, то, что эстонцы блюли свое нутро и хоть и ненадолго, но могли спрятать свои тела от мирового сквозняка в родных деревьях, камнях и море? В том самом чухонском ландшафте, который за все эти годы так и не научились любить пришельцы с восточного побережья. За каждым кустом им до сих пор мерещился недобитый враг, а в своих бедно одетых, настоенных на спирту телах русские, не доверяя местной земле, как в кунсткамерских банках, вечно хранили кости своих погибших за правое дело товарищей.

Советская улица еще задолго до смерти Виктора и его отца и задолго до того, как я узнала эти слова, внушала мне страх и трепет. Ее пыльное русло очерчивало границы знакомого и родного бытия, которое, к моему ужасу, вдруг оказалось конечным.

Советская улица серым горизонтом упала откуда-то сверху и придавила зеленую землю. За этим горизонтом начиналось неведомое и страшное. Оттуда даже в самый жаркий день веяло холодом.

По Советской улице русские пешим шагом везли свои гробы в открытых грузовиках с восточного побережья на кладбище. Гробы тоже были открыты, и над головами идущих на

глазах разрасталось безысходное пространство, где, задрав нос к небу, белели профили мертвецов. Сильно пахло елью. Вой духового оркестра бился в ушах зубовным скрежетом. Я крепко сжала мамину руку, чтобы меня не унесло ветром непостижимого пространства.

Люди в черных мешковатых костюмах и в черных платьях, в шляпах, кепках и платках на опущенных головах медленно двигались вниз к кладбищу. Некоторые несли в руках ядовито-розовые и желто-лиловые букеты или авоськи с едой и бутылками, чтобы помянуть мертвецов у могилы. На лицах, где осела безжизненная пыль, не было ни ужаса, ни отчаяния, как у отца Виктора. С неумолимой покорностью, как косяк рыб, они скользили по течению в заданном направлении, к смертной воронке, которая вот-вот поглотит грузовик с мертвецом и шофером и всю эту черную процессию с гнусавыми трубами, жеваным красным флагом над кабиной, пластмассовыми цветами и набитыми продуктами авоськами.

Как только процессия исчезла за автобусной станцией, откуда-то сразу появились дачники в панاماх и с пляжными сумками. Сначала они еще тихо переговаривались между собой, но по мере удаления оркестра голоса их раздавались все громче, утверждая себе и окружающим, что опять можно, а главное, нужно жить дальше.

Дачники даже казались шумнее обычного, какая-то праздничная возбужденность призывала их речь, как будто, всю жизнь с успехом преодолевая бесчисленные очереди, они все не могли нарадоваться, что эта их очередь еще не подошла. Их тела и взгляды наливались благодарностью и силой. На глазах дачницы распрямлялись и начинали зычно призывать своих детей не горбиться: жизнь слишком коротка и прекрасна, чтобы пройти через нее с сутулой спиной. Или с косолапыми ногами. Они выуживали из сумок книги и клали на голову детям вместо панамок, одновременно заставляя их выворачивать носки ног в первую балетную позицию, не забывая между делом обмениваться новыми рецептами и полезными советами:

– Как, вы не знали? В Москве уже все давно пьют яблочный уксус, по столовой ложке в день, утром на голодный желудок. А у нас в Питере уже сто лет никто не ест мясо с картошкой, их ни в коем случае нельзя совмещать, сочетание углеводов с белками – это чистый яд. У нас практически все перешли на раздельное питание. Мясо едим только с овощами, бобы – только с рисом, если едим овощи с углеводами, то исключаем белки, а хлеб исключаем полностью. Я вам сейчас все объясню, что, с чем и как, слушайте и запоминайте. А потом запишу, если хотите.

А про это вы слышали? Да неужели? А что такого? В деревнях народ так веками делает. Поэтому и живут до ста лет. Ведь человек – это бесценный кладезь животворных веществ. Мы эту простую истину, к сожалению, давно забыли в наших городах. Полстакана свеженькой утренней мочи на голодный желудок, и все как рукой снимает. Абсолютно все, я вам говорю, да, и нейродермит у вашей девочки тоже. Сколько же можно ее гормонами травить? Только она обязательно свою мочу должна пить. Я, между прочим, давно себе так лицо мою, вот, потрогайте, какая кожа, как у младенца. Да трогайте, трогайте, не бойтесь. А всего делов-то – встал утром, пописал в баночку, сразу лицо помыл – и готово.

Мишенька, ну кому говорят, не сутулься. И не чешись, а то загноится. Да, ему осенью тринадцать будет. А у него спина вон какая, скоро уже горб вырастет. Я бы его на спорт отдала, но у нас пролапс митрального клапана. А у Юрочки вашего все еще хронический цистит? Что ж вы ему тогда разрешаете купаться? Вы что, инвалида из него хотите сделать? Ему же в море ни в коем случае нельзя. А вон и капитанша. И чего это она на другую сторону перешла?

– Вы что, не знаете? Она выпила, наверное, вот и не хочет компрометироваться.

– Эрика? Не может быть! С каких это пор она пьет?

– Да с ней черный капитан больше спать не хочет. Мне Валве рассказала. А для женщины это самое большое унижение. Они на богатой улице все в курсе. Эрика себе югославский гарнитур поставила, с шикарной спальней. Она его вам, может, показывала? Толку теперь от этой кровати!

– А Томас?

– Нет, тот не пьет. Там хуже. Я вам вот что скажу, милочка. Держите от него подальше своих девочек.

– Да что вы?

Последних слов уже не слышно. Дачницы вдруг засуетились, быстро и одновременно, как по команде, сняли книги с голов детей, побросали их в сумки и снова натянули им панамки. И бодрым шагом зашагали в сторону универмага.

Над Советской улицей опять повисла томительная тишина, изредка прерываемая шмелиным гудением со стороны Белой речки, текущей внизу под обрывом. Сладко запахло липовым цветом со школьной территории. По следам дачников понуро бежала собака с пыльными лапами и свалывшейся шерстью под животом. Непривычно было видеть Эрику с пустыми руками. Она шла, пошатываясь, и в конце концов схватилась рукой за школьный забор. Вот почему она перешла на другую сторону. Чтобы было за что держаться, плевать она хотела на этих дачников. Сначала она еще как-то пыталась двигаться дальше, но потом, видимо, решила, что с нее хватит. Эрика стала медленно сползать на землю вдоль забора, пока, привалившись к нему всем телом, прочно не уселась прямо в пыль. Она икнула, а может, крикнула от удовольствия, что не нужно тащить свое тело дальше и что место отдыха, как на заказ, получилось для такого жаркого дня просто идеальное. Под сенью школьной липы в цвету. Теперь можно было и глаза прикрыть, здесь ее никто не обидит, да и брать с нее нечего, кроме пропотевшего кримпленового платья и стоптанных босоножек. Эрика вытянула затекшие ноги, скрестила руки на животе и стала ждать.

Собака, трусившая вслед за дачниками по другой стороне Советской улицы, перебежала через дорогу. Остановилась перед Эрикой и, обнюхав ее, приткнулась рядом, положив ей морду на ляжку. Не открывая глаз, Эрика провела рукой по собачьей шерсти, да так и оставила ее на пегой кудлатой башке.

Этим летом у Томаса появились американские джинсы. С яркой оранжевой бирочкой леви штраус вдоль заднего кармана. В передние карманы втиснуты большие пальцы, остальные небрежно висят на стройных бедрах. Глаза Томас спрятал под узкими солнечными очками, изо рта у него торчит травинка. На нем белая майка без рукавов, на ногах вьетнамки.

Когда он первый раз прошел по Советской улице мимо дачников, все сразу замолчали, а потом долго оглядывались ему вслед. Томас уже исчез за тополями у ресторана, а они всё еще качали головой, негодуя и восхищаясь. Первой спохватилась рыжая учительница из Ленинграда:

– Лена! Лена! Ты где? А ну-ка иди сюда!

Все тут же занервничали и начали собирать рассыпавшихся по оврагу и улице дочек в панамках и в сарафанах с узкими бретельками на голых плечах.

– А Нина где? Вы ее не видели?

– Да она уже давно вперед ушла.

– Вы точно знаете? Ну я ей покажу сейчас!

– А вот и Лена, ты где пропадала? Ты же знаешь, что у меня больное сердце и мне нельзя волноваться.

Томас уже прошел мимо ресторана и свернул за угол у крыльца с деревянной входной дверью. Не останавливаясь, сбежал по склону вниз к Белой речке, скинул вьетнамки и в три шага по подводным камням перепрыгнул на другой берег прямо в яблоневый сад. Там он бросил вьетнамки на траву и, побродив по саду с задранной головой, сорвал яблоко и улегся в гамак.

Пока он покачивался, хрустя яблоком, и время от времени разгибая локоть и скривив губы, рассматривал через солнечные очки сочащийся, убывающий плод, дачницы, опомнив-

шись и снова отправив дочек вперед, делились впечатлениями от встречи с сыном черного капитана.

Томас и их дочери пребывали в опасном возрасте. Эрика запила, а черный капитан, как всегда летом, пропал в море, так что прививать моральные устои Томасу было некому, да, судя по всему, капитана мораль и не волновала. На Кульюса тоже не приходилось рассчитывать, у него у самого дочка курила и сидела в обнимку с парнями в новом прибрежном кафе «Анкур». Нет, дачницы не были ханжами, ни в коем случае, более того, они уважали и ценили европейский дух и культуру быта самой западной республики в империи. Но все же, стоило ли привозить ребенку в столь опасном и нежном возрасте американские джинсы, тем более если никто не занимается его воспитанием? Ведь не исключено, что, надев их, Томас стал думать, что ему все позволено, так же, как и молодежи в стране их, джинс, происхождения. Дачницы вздыхали и сокрушались, что Руха теряет свою невинность и им теперь, кроме очередей, готовки и стирки, прибавилась лишняя забота. Они тревожно смотрели на загорелые голени своих дочек, на их хрупкие плечи под бретельками сарафана и чуть сутулые спины, которыми они пытались задержать или хотя бы сделать менее заметным непрерывное набухание молочных желез, и на глаза им наворачивалась легкая слеза.

Собака подняла морду и вяло твякнула. Капитанша поворошила рукой по собачьей шерсти и утерла слюну, скопившуюся в углу рта. Приоткрыла глаза, слегка потрясла головой, приходя в себя, и увидела Томаса.

Он стоял на другой стороне Советской улицы и, не снимая солнечных очков, смотрел на Эрику. Губы у него были плотно сжаты, как в детстве, когда капитанша в саду требовала от него признания и, так не получив, ударила его. Она приложила свободную от собаки руку к лицу, припоминая, по правой или левой щеке она ему тогда дала. В глазах у нее туманилось, то ли от слез, то ли от винных паров. Эрика опять закрыла глаза, моля, чтобы, когда она их снова откроет, Томаса уже не было.

Он ненавидел, когда она ходила по Руха пьяная. Почти не раздвигая губ, цедил, что только русские, напиваясь, шатаются по улице. Зря она, что ли, строила такой большой дом, а теперь вместо того, чтобы быть там, бродит по поселку в свинском виде. Вон Лембит с Эльзой тоже не прочь выпить, и дети их, а все вместе смирно сидят у себя в доме, пока не протрезвеют. Не открывая глаз, она чувствовала, что сын все еще стоит на обочине.

Эрика захихикала. Да, наконец-то она добилась своего. Томас стал с ней разговаривать. Это были не те признания, которых она ждала, но зато она слышала его голос, видела движение его губ, пускай презрительное, но обращенное к ней, к Эрике.

И она отвечала ему, разговаривала со своим сыном, которому она никак не могла объяснить, что она не шаталась по Руха, а искала его, своего сына.

На секунду Эрику переполнило чувство гордости, что вот, они с сыном теперь тоже ведут беседу в гостиной, как в фильмах про правильные семьи. Она – сидя на польском пуфике, а Томас – шагая по комнате, кусая губы и иногда присаживаясь на край югославского дивана и сразу вскакивая с него, как ужаленный. Тем временем она все ближе придвигала пуфик к середине комнаты, незаметно, как она думала, чтобы как бы невзначай дотронуться до него, когда он будет проходить мимо, и сказать ему, что не нужно ее стыдиться – ведь она просто очень волнуется за него, вот почему ей не сидится дома. Тут у Эрики зануло сердце. Ей так и не удалось сказать это своему сыну, да он и не давал приблизиться к себе, просекал все ее уловки и, хлопая дверью, уходил из комнаты и из дома, который она строила для него с черным капитаном.

При мысли о том, что будет с Томасом в будущем, Эрика почти протрезвела. Откинула голову назад к забору, не открывая глаз, чтобы не видеть сына, от чьей красоты у нее так болело сердце. Странно все-таки, что сейчас, с закрытыми глазами, она гораздо лучше видела его, чем

когда стояла с ним лицом к лицу и кричала на него, требуя признания. Вот Мати. Год назад уехал в Таллинн учиться на автослесаря. Дядя помог. Если потом устроится в автосервис, зарабатывать будет больше профессора. А Томас и слышать ничего не желал. Ни про Таллинн, ни про автосервис, ни про мореходку, ни вообще про учебу. Даже Кульюс его перестал перевоспитывать и уже не строго, а сочувственно смотрел на Эрику из своего сада, больше не подбегая к забору и не заговаривая с ней о старшем сыне. Томас теперь и дома носил солнечные очки, чтобы не встречаться с ней взглядом. Ему привез их из Марокко черный капитан, вместе с американскими джинсами, а сам только плечами пожимал, когда Эрика жаловалась на сына. И спать ложился в Матиной комнате на втором этаже, а днем так яростно стучал молотком и сверлил, что по всему дому летели щепки, как будто он ненавидел его и хотел своротить с лица земли. Дом, который они своими руками строили больше пятнадцати лет и который должен был защитить их от всех штормов, теперь сам терпел кораблекрушение.

Иногда, выпив, Эрика чувствовала, как под ее ногами качается пол, а под ним стонет и мечется бездна, которая вот-вот прорвется наверх через доски. Но по-настоящему она испугалась, когда пол стал оседать под ней, и она, вместо того чтобы выбежать из дому, упала и, вцепившись в пушистый зеленый финский ковролин под цвет гарнитура, громко завывала. Ей даже показалось, что она на минуту потеряла сознание, а потом пришла в себя от ужаса, что ведь сегодня еще не выпила ни капли, кроме кружки растворимого бразильского кофе на завтрак. Набравшись смелости, она подошла к мужу, который, размахивая молотком, укреплял рамы на кухне, и сказала ему об этом, а он коротко бросил ей, что надо меньше пить. Разозленная Эрика, не обращая внимания на занесенный вверх молоток, обошла мужа и что есть силы дыхнула ему в лицо. И отшатнулась, увидев страх в его глазах: «И ты?» Но он опять яростно замахал молотком, зажав между губами гвозди. Значит, я не схожу с ума, значит, он тоже знает, значит, дом и вправду тонет.

Эрика застонала и провела пальцами по собачьей башке. Та заерзала и лизнула ее в ладонь. Мати уехал в Таллинн, а черный капитан ушел в Северную Африку.

Значит, тонут она и Томас. Они вдвоем сидят в тонущем доме, и он ненавидит ее. За что? Сначала она думала, что он связался с плохой компанией. Поэтому она постоянно искала его по всей Руха и за Советской улицей. С детьми с богатой улицы он никогда не дружил, разве что один раз подбил их на плевательный конкурс. Откуда было взяться плохому влиянию, если у Томаса вообще не было друзей. А вот теперь до нее стали доходить слухи про каких-то девочек с восточного побережья и даже про каких-то дачниц. Раньше она могла спрятаться от слухов в доме, но теперь это стало невозможно. Дом тонул, вместе со всеми богатствами, которые они накопили с черным капитаном за пятнадцать лет. Вдруг ей захотелось попросить прощения у сына, но не было сил подняться. На нее накатила такая усталость, что она даже глаз не могла открыть. Над ней заколыхался воздух, но собака молчала. Это Томас перешел через дорогу и, нагнувшись над матерью, натянул ей на колено задравшийся подол платья.

Томас никогда не приводил никого к себе домой. Раньше мать не разрешала, боялась, что дети поцарапают мебель, разобьют что-нибудь из чешского хрусталя в серванте или помогут руки немецким мылом «Люкс». Она не любила детей, потому что дети любили трогать чужие вещи, не зная этим вещам цену.

Когда Томасу было лет семь, к нему после школы пришла девочка из класса. Он хотел показать ей, как горит спирт в стакане, взвываясь синим пламенем к потолку огненным выдохом дракона. Он не успел зажечь спичку, как на кухню вошла мать. Она сразу увидела коричневую каемку на губах девочки и, схватив ее за плечо, стала спрашивать, кто разрешил ей взять батончик. Пока девочка испуганно молчала, Томас быстро спрятал спички в карман и убрал под шкаф банку со спиртом. Эрика все трясла ее за плечо и говорила, что в чужом доме без спросу нельзя ничего брать, ничего и никогда. Потом девочка ушла, так и не увидев дыхания

дракона, а Эрика отправилась в гостиную и стала аккуратно раскладывать конфеты в хрустальной вазе.

Томасу нравилась эта девочка. Она была беленькая и чуть косолапая, с тонкими ногами. Ему нравилось сидеть рядом с ней, слышать, как она сглатывает слюну и пошмыгивает носом, смотреть, как она вертит головой и болтает ногами в красных лакированных сандаликах, а за одним, кажется, правым, ремешком тянется порванный хвостик. Вскоре она уехала из Руха, и у Томаса сразу перестало ныть в желудке, как раньше, каждый раз, когда он видел ее. Он знал, что предал девочку, не сказав матери, что это он привел ее в гостиную и угостил конфетой из хрустальной вазы. Не сказал, потому что боялся Эрику. Но вместе с девочкой из его жизни пропал и страх, который он испытывал перед матерью. Он теперь просто отключался, когда она ругала его, представляя себя на палубе корабля, с мокрым от соленых брызг лицом, а на плече у него обезьянка с красным платком на шее строит рожи океану. Тогда ему становилось смешно, а Эрика, думая, что он издевается над ней, начинала еще пуще кричать, размахивая руками и даже как-то раз здорово ударила его по лицу.

Отца он не боялся, да тот почти и не разговаривал с ним и Мати. Когда приезжал домой, то раздавал подарки, которые Эрика сразу прятала в шкафах, и на следующий же день начинал заниматься домом. И почему его в поселке называли черным капитаном? Он как-то спросил об этом отца, но тот только рукой махнул: пускай трепятыся, – и пошел дальше утеплять стены стекловатой.

Матери Томас избегал, отца не понимал, брата презирал, а дом ненавидел. Хотя у дома не было зубов, он был алчным и прожорливым, поглощая не только стройматериалы, кирпичи, доски, бетон, стекло, песок, черепицу, но и те незримые вещества, из которых когда-то состояли мать с отцом, их смех, мягкость рук, тепло и жалость, все реже проскальзывающие в их взгляде.

Чем выше рос дом, чем больше толстели его стены, тем молчаливее и сумрачнее становился отец и угрюмее – взгляд матери, как будто они приносили себя в жертву, добровольно кладя головы на огромную черную плаху, очертания которой дом принимал ночью. Хотя дом был совсем новым и они были первыми его жильцами, Томасу казалось, что в нем уже умерли сотни человек, которые, как в склепе, разлагаются во всей этой темно-коричневой, почти черной мебели, которой мать набивала комнаты. Он боялся дома, боялся спать в нем и, когда стал постарше, вечером часто прокрадывался на улицу и ночевал в сауне или в лесу.

Он знал, что в поселке им завидовали, и просто бесился от идиотизма людей. Больше всего ему хотелось привести их сюда и втолкнуть в дом, наглухо закрыв за ними дверь, чтобы они сами почувствовали, как он воняет. Прокисшими огурцами, грязными носками Мати и всеми этими мертвецами, гниющими в полированном югославском склепе матери. Например, ту белобрысую девчонку-дачницу в очках, которая несколько лет подряд часто торчала у дома, чего-то высматривая. Она была немного похожа на девочку, которой он когда-то хотел показать на кухне выдох дракона. Чуть косолапая, с такими же тонкими, длинными ногами, она обычно в одиночестве плелась за шумной компанией дачников со Спокойной улицы. У дома она притормаживала. Он слышал, как от напряжения у нее почти останавливалось дыхание, когда она начинала шарить глазами по фасаду и окнам, будто искала что-то.

Однажды он увидел ее в малиннике за валунами с девочкой постарше, которая собирала ягоды. Белобрысая подошла к калитке и долго стояла там, не сводя взгляда с двери. Лицо у нее было просительное, она даже руки прижала к груди, и ему вдруг показалось, что она вот-вот заплачет. Наверх она не смотрела, сейчас ее интересовала только дверь, так что он мог спокойно наблюдать за ней из комнаты Мати со второго этажа. Потом он услышал голос матери, к девочке подбежала ее подруга и стала тянуть за руку. Мать еще раз закричала, что нечего здесь шататься, вон там весь лес в их распоряжении, и тогда они ушли, а он спустился вниз, встал на том же месте перед домом и тоже стал смотреть на дверь. Что она искала в доме,

который он уже тогда начинал ненавидеть, о чем просила, сжав кулаки? Какую тайну хранил дом? Что бы она нашла, если бы он впустил ее сюда?

Потом Томас забыл о ней а, увидев пару лет спустя на Советской улице, не сразу узнал. Она была без очков, и вместо шорт вокруг ее тонких ног на ветру развеялась полупрозрачная бордовая юбка. Они прошли мимо друг друга, не здороваясь. Глаза у нее оказались золотистого цвета.

Теперь Томас мог приводить домой кого угодно. Хоть все восточное побережье. Мати уехал, отец все чаще пропадал в море, а мать была половину времени на работе, половину в беспамятстве. Из колхоза ее по старой памяти не выгоняли. Только сняли с доски почета ее фотографию. Какое-то время о ней еще говорили в прошедшем времени: «какие у Эрики были руки, форель чистила быстрее всех», «как она себя не жалела для дома и для детей», постепенно вытесняя Эрику из речи, заменяя ее безличными конструкциями «какая это была образцовая семья и хозяйство, а теперь вот всем курицам шеи свернули», «сколько сил положили на дом», «что бы им не жить?», еще что-то в этом роде, пока о ней не перестали говорить вообще.

Первой в дом попала Люда, которая жила за Советской улицей. Она была с крупными веснушками, с щербинкой между передними зубами и широко расставленными, нагловатыми коричневыми глазами. Мать ее работала в горячем цеху, а отца она не помнила, он уже давно где-то сгинул. Томас мог бы запросто привести ее в дом, даже в спальню, мать уже намертво рухнула в коридоре – теперь будет дрыхнуть до утра – а Люде не терпелось поглазеть на богатства черного капитана. Но вместо этого он потащил ее в сауну, где, стучаясь о деревянные полки, они быстро стащили с себя в нужных местах одежду. Потом, хихикая, Люда стала приводить себя в порядок и заныла, что хочет курить, а Томас вышел на улицу и закрыл входную дверь в дом, чтобы не слышать его запаха, который портил воздух в саду. Он не спешил обратно, времени было достаточно, и он мог спокойно досмотреть, как закатывается луна за сосны, пока воздух почти не слился с черным лесом, и дом, утратив рельефность и детали, при свете делающие его домом, снова не стал похож на плаху.

Люда все звала его и все ныла, что если нет сигарет, то в таком богатом доме уж точно найдется какая-нибудь выпивка. Пока он, размышляя, стоял лицом к лесу, Люда, разлегшись на полке в сауне, говорила, что, если бы она знала, что он такой жадный, она бы взяла с собой бутылку и что у его матери наверняка есть везде закладки и от пары глотков она уж точно не обеднеет. Томас все стоял и думал, ничего не отвечая, к тому же ему было неохота напрягать мозги по-русски. Он и так потратил кучу серых клеток, чтобы дать ей понять, что она ему нравится и он не прочь развлечься с ней. Сначала до нее все никак не доходило, чего самый красивый мальчик в Руха, сын черного капитана, хочет от нее, а когда она наконец поняла, то все пошло как по маслу. Когда они шагали к богатой улице через приморский лес, чтобы не привлекать внимания, Люда все глупо улыбалась, не веря своему счастью. Она еле поспевала за Томасом, прыгающим через кочки, ему, видно, совсем было невтерпеж. Конечно, она предпочла бы побаловаться с ним в самом доме, тогда бы она первая из поселка побывала в знаменитом доме черного капитана, но на этот раз и сауна сойдет, тем более что обычно Люда встречалась с парнями под открытым небом или в школьной раздевалке.

Томас опять вспомнил, как мать орала на него, требуя рассказать, где он прячет мавританский ножик, который отец привез ему из Андалузии. Так он ей и сказал, дурища. Вдруг он подумал, что единственный человек, кому он показал бы нож, была белобрысая дачница, у которой за очками оказались золотистые глаза. Вокруг стояла такая тишина – даже собаки заглохли, – что хотелось заорать во все горло, разбудить в людях то, что пожирали в них богатые дома и нищие бараки, превращая их в бесчувственных уродов. Но кричать было нельзя и неразумно. Люда все бубнила за его спиной, но он не слышал ее. Она уже сливалась с пейзажем, с ельником за сауной, с валунами в малиннике, с приморским сосновым бором, за который

закатилась луна, пока совсем не растворилась в черном воздухе, повисшем вокруг дома-плахи. Наконец он повернулся и пошел к сауне.

Люда исчезла, так же внезапно и почти неожиданно для него, как и та девочка, которая так и не увидела горящего спирта. Уехала наверное, судачили в поселке, ведь кроме матери, с которой она постоянно ссорилась, у Люды здесь никого не было. Поехала, видно, искать счастье в другом месте, страна-то большая, не всю же жизнь молодежи в Руха торчать. Так что особо Люду никто не искал, а ее мать, пряча злые слезы, говорила, что вот дочь нагуляется и прибежит обратно, как миленькая, когда кушать захочется.

С Людой стыд за мать не исчез, но как-то притупился, утратив ту жгучесть, от которой по утрам ныло нутро. Еще появилась брезгливая жалость к ее глупости, когда Эрика, ненадолго придя в себя, пыталась воспитывать его. Сидя посреди своего склепа, она приводила ему в пример Мати и говорила, что нужно учиться дальше, и что Кульяс тоже так считает, и, если он хочет, она попросит московских интеллигентов со Спокойной улицы поднатаскать его по математике и литературе, а он, движимый этой странной жалостью, изо всех сил сжимал зубы, чтобы не расхохотаться ей в лицо. Порой он не выдерживал и выбегал из дому в сауну, где с разбега падал на полок и начинал хохотать как сумасшедший.

Теперь Томас иногда соглашался сидеть с ней в одной комнате и чаще бывал дома, и Эрика несколько сократила свои пьяные блуждания по поселку.

Если он давал ей дотронуться до себя, то ее лицо принимало совершенно идиотское выражение, и вся его жалость сразу испарялась. Так он никогда и не признался Эрике, что не уезжает из Руха вслед за Мати только из-за нее и из-за их проклятого дома, что это она виновата в том, что у него здесь теперь куча дел.

Потом в дом попала девчонка из Таллинна. Она приехала в Руха с компанией на машине, но, поссорившись со своим парнем, откололась от нее. Томас подцепил ее на пляже, когда все дачники ушли на обед. За дюнами под соснами сидели еще какие-то люди, но это были не местные, те в будни на пляж ходили редко. Так что по дороге к дому он не встретил никого из знакомых. А последний участок пути он повел ее лесом.

Девчонка, ее звали Ирина, была уже под хмельком и тоже все время хихикала, как и Люда. Матери дома не было, она сегодня выбралась на работу, и Томас решил, что Ирину можно повести прямо в дом. В гостиной она сразу уселась на пуфик, на котором любила сидеть Эрика, и закинула ногу на ногу. Сначала они выпили «Чинзано», а когда Ирина после двух стаканчиков стала пищать, что у нее горько во рту, он уже стаскивал с нее трусы.

Потом она заснула, а он еще какое-то время стоял у открытого окна и смотрел на сосны, за которыми сегодня было слышно море. Ирина похрапывала, под ногами у него между зелеными ворсинками белел песок, который они занесли с улицы, и он подумал, что потом нужно будет хорошенько прибраться, на всякий случай. Было светло, только под соснами на валунах лежали густые черные тени. Ирининых знакомых он так и не увидел, они наверняка уехали, не дождавшись ее, как это часто бывало с наспех собранными компаниями, да они его и не интересовали. Он еще прошелся по Советской улице, народ как раз группками тянулся с обеда по пыльной обочине. Было жарко, и дачницы шли в легких сарафанах на тонких бретельках. Об Ирине помнили только его коленки – еще около часа назад, ползая по коридору и лестнице, он собирал в мокрую тряпку песок, потому что слишком долго не мог найти веник.

Мимо опять прошла девочка с золотистыми глазами. Вид у нее был скучающий и немного несчастный. Она вообще часто так смотрела. Но сейчас она не входила в его планы. Ему надо было думать дальше, и он перевел взгляд на другую дачницу, скорее всего, из Москвы. С длинной светлой косой, плотного телосложения, она была не в его вкусе, но для дома это не имело значения. Зато у нее, в отличие от других приличных девочек, были круглые зрелые плечи, и смотрела она по-другому, не смущенно, а чуть прищурившись, как будто приценива-

ясь. Смотрела прямо в его солнечные очки, а потом обернулась, одновременно с ним. Рядом с ней тащился долговязый бесцветный парень в очках, лет шестнадцати. Хотя нет, для дома она, наверное, все-таки не годилась, уж слишком следила за ней ее мамаша. Но Томас и не думал расстраиваться, в Руха было полно подходящих девиц, а в случае чего всегда можно было переключиться на однодневку из Таллинна, как эта Ирина. Так, наверное, даже удобнее, да и надежнее.

Все-таки Томас остановился и, обернувшись еще раз, увидел, как на перекрестке вся компания повернула налево, а с ними и девочка с золотистыми глазами. Там, напротив деревянного ларька, где по субботам иногда продавали мороженое, находился Дом моряка, на двери которого вместе ручки был приделан железный якорь натуральной величины.

На следующий день москвичка сама нашла его. Он как раз лежал в гамаке в саду за рестораном, доедая яблоко. Он повернул голову на свист и увидел ее за Белой речкой. Она помахала ему рукой и крикнула: «Не помешаю?»

Томас ничего не ответил, рот у него был забит яблоком, и тоже помахал рукой. Она еще чуть постояла у речки, видимо, рассчитывая, что он поможет ей, но, так и не дождавшись, сама перебралась через нее, сначала перекинув сандалии на тот берег.

Подошла к нему и сказала: «Привет, как дела?»

Он только пожал плечами, размахнулся и метнул огрызок в кирпичную стену.

Москвичка кивнула в сторону дома и вопросительно посмотрела на него.

Томас покачал головой: «Они здесь не живут, только в субботу-воскресенье».

Москвичка опять кивнула и, заложив руки за спину, стала ходить между яблонями, искоса поглядывая на него. Томас все раскачивался в гамаке, наблюдая за ней из-под полузакрытых век; лежа ему лучше думалось. Нет, с этой девицей серьезно связываться не стоило, слишком опасно. Неожиданно для себя Томас немного расстроился. Для дома она бы очень даже подошла: во-первых, сама к нему лезла, а во-вторых, ни в чем не уступала, а может, даже и превосходила тех первых девиц по степени непристойности. Те хоть не притворялись, а эта, держась за стволы, кружилась вокруг яблонь с романтическим видом. Москвичка как будто почувствовала, что он принял решение, и, опустив глаза, медленно зашагала к нему, нарочито глубоко сгибая колени: «У тебя?»

У Томаса опять заныло в груди от сожаления. Если бы они сейчас пошли к дому по последнему отрезку Советской улицы, то их в этот мертвый час никто бы не увидел. А потом он повел бы ее тропинкой мимо кладбища со стороны луга и привел бы к себе через лес за Спокойной улицей. Чисто и никаких следов.

– Ко мне нельзя.

– Я твою мать сейчас на улице видела, – сказала москвичка без тени смущения. – И как ты с ней уживаешься?

– Не твое дело. Ну и что, что видела? В дом все равно нельзя.

Он начал злиться, но старался не показывать виду. Москвичка обвела глазами сад и сказала:

– Ну ладно, с милым и в шалаше рай.

Он не понял ее слов, но стал сползать с гамака и, прыгнув на землю, пошел к дому и скрылся за ним. Москвичка тоже обошла дом, и, осмотревшись, кивнула. Взяла его за руку и потянула за собой на траву.

– Ты здесь долго будешь? – спросил Томас, расстегивая молнию.

– Еще три недели.

Пока он обрабатывал ее и она, как ошалелая, мотала головой, впившись зубами в красную нижнюю губу, он думал, что если не сейчас, то за три недели уж точно успеет заделать ей ребенка. И от этой мысли досада, что ему не удастся скормить ее дому, немного улеглась.

В промежутках между москвичкой, которая каждый день после обеда приходила в яблоневый сад, он все-таки сумел выполнить часть своей программы. К тому времени мысль, что он зря тратит свои силы, стала почти невыносимой, а главное, могла навредить делу. Он слишком часто стал вымещать раздражение на москвичке, а один раз так сильно сжал ей горло, что та сначала расплакалась, а потом раскричалась, что ему место в психушке. Томас и сам испугался и быстро постарался превратить все в шутку. Матери она бы, конечно, ничего не рассказала, та думала, что дочь ходит к подруге на школьную территорию, но вполне могла проболтаться долговязому юнцу, с которым, как она говорила, ее связывали платонические отношения.

Впервые Томас занервничал. Он чувствовал, как дом ждет, как давит на него, видел, какими алчущими становятся его очертания ночью, и стыдливо отводил глаза. А в последнее время дом и днем стал преображаться в плаху, как будто ему не терпелось выполнить свое назначение и он теперь постоянно напоминал об этом Томасу.

Томас понял, что изменился, когда, зайдя однажды в гостиную-склеп, почувствовал, как ему здесь покойно, можно сказать, почти уютно. Даже присутствие матери больше не портило ему настроение. Наоборот, ведь это благодаря именно ей дом превратился в самое себя, обнажив свою истинную сущность, в которой он, Томас, наконец нашел себе пристанище.

С тех пор Томас часто захаживал сюда и подолгу стоял у окна, боковым зрением вбирая в себя еще недавно похрапывавшую здесь на диване Ирину. Люда же в его памяти навсегда осталась в сауне, а сауна, хоть и была частью дома, все же существовала отдельно от него. Поэтому дом был вправе укорять Томаса в медлительности.

Видимо, удача все-таки была на его стороне. На этот раз девчонка приехала в Руха одна, на попутке из Раквере. Как она сказала, в гости к парню, который якобы работал в «Анкуре». Но там его не оказалось, и его вообще там никто не знал. Так что Света, рассчитывавшая хорошо развлечься, сильно разозлилась. Томас перехватил ее в приморском лесу, через который она возвращалась в поселок. Перехватил вовремя: она еще не дошла до богатой улицы, а значит, никто ее толком не видел. За «Анкур» он не беспокоился, мало ли какие и сколько девчонок заходили туда летом в поисках парня.

Они повернули обратно, и уже через десять минут Света очутилась в доме. В отличие от Ирины, в гостиную ей не понравилось – слишком мрачно, но выпить она не отказалась. Мать отлеживалась в Матиной комнате, где теперь спал черный капитан, когда возвращался из рейса.

После водки, которую капитанша держала на кухне, они распили белый портвейн из полированного серванта, и гостиная уже показалась Свете повеселее. Когда они упали на диван, она сперва завизжала, а потом запрокинула голову и шумно задышала через по-дурацки раскрытый рот.

Так она и осталась в его памяти с разинутым ртом и зажмуренными глазами, с комочками туши на ресницах. Запомнилось и ощущение лихорадочности – на руках, в висках, во всем теле, – которое как-то не вязалось с торжественностью, по окончании заполнившей дом и хоть на время вытравившей из него вонь грязных носков и малосольных огурцов, навеки вьвшуюся в стены. Но Томасу нужно было спешить. Не из-за матери – та до вечера не очухается, – а из-за москвички, которая будет ждать Томаса под яблонями и, не дождавшись, чего доброго, притащится сюда.

Но пока все шло лучше не бывает. Во-первых, его оберегал дом, во-вторых, на всех девиц у него уходило равное количество времени, ведь кроме цвета волос и глаз они ничем не отличались друг от друга, а поэтому никаких сюрпризов не преподносили. Они даже пахли одинаково, распаленным от алкоголя и бесстыдства телом.

Закрыв за собой калитку, он не сразу пошел дальше, а обернулся и еще раз внимательно посмотрел на дом. Белобрысая дачница в очках была права: дом черного капитана и вправду хранил в себе тайну, и знал ее только он, Томас. А значит, и ключи от дома были только у него. Так что, если разобраться, черному капитану здесь скоро нечего будет делать. Он уже сделал

свое дело, заложив фундамент и отстроив стены, а потом поставив на них крышу, чтобы мать могла забивать нутро дома мебелью, хрусталем и финской сантехникой. Теперь очередь была за Томасом. Посвистывая, он двинул дальше, по богатой улице в сторону приморского леса, где всего три часа назад встретил Свету.

Лето подходило к концу, море похолодало, все чаще шли дожди, прибывавшие пыль Советской улицы, в магазин у автостанции завозили все меньше продуктов, рабочая столовая теперь кормила приезжих только три раза в неделю, дачники разъезжались, а оставшиеся, помешивая на общих кухнях супы и брусничное варенье, жаловались, что Руха теряет невинность буквально на глазах. Москвичи, многозначительно глядя друг на друга, рассказывали, что по приезде домой нескольким девочкам пришлось ненадолго лечь в больницу. А недавно в венерическом диспансере кто-то из таллиннских видел дочку Кульюса, которая в больничном халате курила на скамейке около корпуса.

Еще несколько девушек из бараков за Советской улицей так и загуляли где-то, правда, их особо и не искали, только один раз милиция приезжала, но все равно, даже если исходить из предельно низкого уровня их нравственности, сам факт их исчезновения что-то говорил об общем моральном облике Руха. Конечно, что происходило с Эрикой, в моральном смысле тоже было страшно, но она ведь взрослый человек, а душа болит за молодежь. Вот, скажем, Томас. Чем он занимается? Какие у него идеалы? Какие личные и общественные интересы? Как он будет вносить свой вклад в наше общее дело? Как будет осуществлять великую мечту? Да никак, ему бы только по Руха пижонить в американских джинсах да девочкам голову кружить. Между прочим, в тот раз милиция с ним тоже разговаривала.

– Да что мы все трясемся, – сказал кто-то. – Просто наши дети выросли и они другие: свободнее, смелее, раскованнее. А что бы вы хотели? Сколько можно зажимать им рот, дурить голову прогрессом; да они всё прекрасно видят, не волнуйтесь. Времена-то изменились.

– Какие такие времена? Да что вы такое несете, что они, по-вашему, видят, а?

– Да хотя бы нас с вами. А что касается Томаса, так наши девочки ему сами глазки строят.

Тут все покидали свои поварешки в кастрюли и, уперев руки в боки, закричали, что нечего порочить наших детей всякими грязными намеками, и что у некоторых уже совсем ничего не осталось святого, а что, наоборот, надо беречь и лелеять и что мы сами лучше знаем, слава богу, и не то видали на своем веку.

Когда дом затих, Эрика перевернулась на бок, спустила ноги на пол и стала медленно подниматься. Оказавшись в сидячем положении, она, потеряв равновесие, чуть не грохнулась вперед, но удержалась, крепко вцепившись пальцами в край кровати. Она покрутила головой, во рту было противно. Обвела мутным взглядом комнату и увидела стакан воды на тумбочке. Томас, ее сын, поставил его туда. Эрика начала медленно продвигаться задницей по кровати в сторону тумбочки, пока стакан не очутился в поле досягаемости.

Зубы залязгали по стеклу, по подбородку потекла вода, а может быть, слезы, потому что взгляд у нее затуманился еще больше. Эрика поставила стакан и прислушалась.

Дом молчал, а Эрика слушала его. На душе у нее было покойно, так покойно, что хотелось улыбнуться. Она растянула губы и подумала: как хорошо, что дом теперь тонет тихо, спокойно, что ощущение беснующейся бездны под полом исчезло, что дом просто медленно погружается в бездонную заводь, вместе со всеми их трудами и добром, страхами за сына и странными слухами о нем и девочках из поселка. А ей ничуть не страшно, как будто так и должно быть, как будто у нее теперь одна дорога – вниз, где ей больше ни перед кем не надо оправдываться. От этой мысли у Эрики прибавилось сил. Опершись руками о кровать Мати, она приподнялась и зашаркала к окну. У забора стоял ее сын, еще красивее, чем обычно, и внимательно смотрел

на дом, не видя ее в окне на втором этаже. Потом Томас повернулся и пошел в сторону богатой улицы.

Сегодня девочка с золотистыми глазами надела новую юбку. Из бордового ситца с большими белыми цветами и широким воланом. В этом году все носили длинные юбки с воланом. Она немного волновалась, закрывая за собой тяжелую дверь с якорем. Маме она сказала, что пойдет посмотреть, не привезли ли в приморский магазин свежий хлеб. Та сунула ей в руки авоську и опять уткнулась в какой-то иностранный роман, который сейчас все читали.

Сначала она на всякий случай решила пройти по Советской улице. Дошла до автобусной станции, а потом повернула обратно. Навстречу ей попала блондинка из Москвы с длинной косой и толстыми плечами, которая тоже отдыхала в Доме моряка. Блондинка смотрела по сторонам, как будто искала кого-то, а поравнявшись с девочкой, с надменным видом прошла мимо. У ларька девочка повернула налево, к Белой речке. Перейдя через мостик, она решила пойти в приморский лес, а уже потом по Пионерской выйти на богатую улицу. В приморском лесу тоже никого не было, все еще обедали. У девочки опять заколотилось сердце, но теперь к волнению примешалась радость от новой юбки, и она поспешила дальше. Только она прошла мимо баскетбольной площадки, вдали между соснами уже синело море, как увидела Томаса. Его узкая спина и ноги, затянутые в американские джинсы, быстро мелькали между деревьями, как будто он торопился. Во рту у нее мгновенно пересохло. Она прибавила шагу и вдруг увидела, что он не один. Рядом с ним шла девушка, старше ее, лет шестнадцати, с белыми волосами, в которых просвечивали черные пряди. Девушка была незнакомая, в Руха она ее ни разу не встречала, и совсем другая, чем она, – опытная. Это сразу было видно. Между Томасом и ею что-то происходило, что-то очень важное, хотя они шли на расстоянии, не прикасаясь к друг другу, как чужие, и, кажется, молча. Правда, один раз девушка что-то сказала и сама же засмеялась, резко закинув голову назад, но Томас, не посмотрев на нее, все шел, почти бежал дальше. Потом они повернули в сторону богатой улицы и исчезли.

SOS

Мати не любил приезжать домой на каникулы. В доме всегда плохо пахло, сильно поху-девшая мать бродила по нему, как привидение. Ее когда-то узковатые глаза расширились и напряженно вглядывались в пространство дома. Она явно чего-то ждала, ощупывая стены и внимательно осматривая потолок, принохиваясь к чему-то или вдруг опускаясь на колени и прикладывая к полу ухо. Бывало, она пьяная заваливалась к нему ночью и плашмя падала на постель. Тогда приходилось выволакивать ее из комнаты, но иногда она засыпала у него прямо на руках, и он опускал ее на коврик перед кроватью и накрывал детским шерстяным одеялом.

Томас смотрел на него так же, как когда они были маленькие, и Мати так же, как и тогда, краснел и начинал ненавидеть свои бледные рыхлые ноги и узковатые, как у матери, глаза. Он никогда не злился на брата, ведь Томас ничего не делал нарочно, как другие мальчишки, которые дразнили его за неуклюжее, бесцветное уродство. Просто Томас видел его насквозь и не скрывал своего презрения. Мати знал, что, даже если он когда-нибудь разбогатеет, как дядя Калле, и будет приезжать в Руха на собственных «жигулях», брат будет смотреть на него точно так же.

Отец почти всегда был в море, а если и приезжал домой, то целыми днями занимался только домом, не обращая ни на кого внимания. Иногда рядом с ним оказывалась мать. Трезвая, она могла часами наблюдать за мужем, тихо следуя за ним, как тень, и жалостливо улыбаясь и покачивая головой, как будто смотрела на глупого ребенка, строящего замок из песка. Потом она так же внезапно исчезала, и появлялась уже пьяная, и с лихорадочным взглядом начинала осматривать сделанную отцом работу. Однажды Мати увидел, как она всем телом повисла на двери, которую только что починил отец, пытаясь сорвать ее с петель.

На каникулах Мати спал, катался по Руха на велосипеде, а купаться предпочитал в плохую погоду, чтобы никто не видел его ног, и наблюдал за девушками. С Томасом он встречался только на кухне или в саду, когда уходил из дома, и понятия не имел, чем тот занимается целыми днями. Как-то раз он застал брата в гостиной. Просто шел мимо по коридору и увидел в полуоткрытую дверь Томаса, тот разлегся на югославском диване, чуть скривив губы и рассматривая что-то блестящее. Мати остановился и стал смотреть на брата. Томас перевернулся набок, а потом на живот, полежал так лицом вниз с трясущимися плечами, то ли всхлипывая, то ли хохоча, и опять перекатился набок, и так несколько раз. Под ногами Мати скрипнула половица, но Томас ничего не заметил, продолжая свое странное занятие, пока вдруг резко замер, перевалившись на спину. Мати не сразу понял, что произошло, а когда понял, то пугаться уже было поздно. Узкое лезвие просвистело мимо его уха и вонзилось в дверь. Дрожа всем телом, Мати сбежал по лестнице и выскочил из дома.

Если погода была пляжная, то Мати шел к морю, но никогда не снимал там тренировочных адидасовских штанов, которые ему принес дядя Калле из гаража.

Сначала он еще попытался устроиться в «Анкур», модный приморский бар-кафе, которое недавно построили в Руха, продавать фанту и яблочный сок, но все места уже были заняты таллинскими. Просто так сидеть в кафе, где целый день торчали друзья таллинских и дети с богатой улицы, ему не хотелось, да и денег было жалко.

В «Анкуре» пахло просмоленным деревом, канализацией, соснами и морем. За стеклянными стенами все время шла какая-то непонятная для Мати игра. По неуловимым сигналам в «Анкуре», как на шахматной доске, происходили перетасовки, перемещения, тайные и явные перестановки сил. Еще вчера дочка Кульюса Марика сидела в обнимку с парнем в вельветовых адидасах, сегодня она уже красовалась у бара и тянула из соломинки фанту, улыбаясь длинным бармену, а на вельветовых коленях устроилась кудрявая девица в желтой майке. Потом

вместо бармена сок и бутерброды стала продавать кудрявая девица, а Марика ей помогала. У бара расположилась новая модная компания, в центре которой сидел парень в вельветовых адидасах, бармен же в голубых джинсах целовался в углу с девушкой, у которой были видны только ноги и рука с красными ногтями, впившаяся в барменовское плечо. Мальчики и девочки бесшумно скользили по «Анкуру», на ходу изобретая схемы ритуальных танцев, как бы между прочим обнюхивая друг друга, как собаки, быстро образуя парочки и так же быстро расходясь.

Как только Мати нашел себе подходящее место в дюнах, игры в «Ануре» перестали занимать его. Наблюдая за идущими в кафе девушками, целиком перемещаясь в их нежные полуголые тела, он забывал про собственное уродство, а все телодвижения за стеклянными стенами представлялись ему такими же нереальными, как на экране финского телевизора в доме у дяди Калле.

Теперь «Анкур» интересовал его лишь как средоточие центростремительных сил, что притягивали к себе юных дачниц. Это было единственное место на всем побережье, где можно было не только купить фанту, пепси-колу или сок, но и шикарно выпить их из длинных стаканов с соломинкой, и поэтому рано или поздно все девушки проходили мимо Мати, устроившегося в ложбинке у «Анкура». Так ни разу и не заметив его.

Они были слишком очарованы «Ануром», заполненным до головокружения свободными и такими прекрасными и недоступными в своей свободе девочками и мальчиками из европейского мира, чтобы заметить угрюмого парня с узковатыми глазами на бледном лице. Так что место он себе выбрал просто гениальное. Пока девушки группами шли к «Анкуру», размахивая вьетнамками и затихая по мере приближения к кафе, Мати успевал переместиться в каждую из них. Ему нравилось качаться в их мягкой, томящейся плоти, он почти не замечал, как переплывал из одного тела в другое. Все они были связаны между собой, как волны в его любимом море, все они текли из одного волшебного источника, который когда-нибудь обязательно материализуется и перевесит тот мир, где непомерным грузом лежали его дом, русские бараки в поселке и серые военные суда за заводом, сторожившие горизонт в Руха.

Но для начала Мати нужно было разбогатеть и купить машину, как дядя Калле.

Представляя себя в джинсовом костюме и в белой нейлоновой финской водолазке, Мати закрывал глаза. Тогда ему сразу вспоминался брат, тонкий и красивый, но он пока так и не решил, завидовать тому или нет. Конечно, Томас мог познакомиться с любой девочкой в «Ануре» или из приезжих, но смог бы он, как Мати, заплывать в нее, не повредив нежной ткани? И потом нырять в теплые глубины, не задевая животворных органов? Иногда Мати начинал стесняться своих мыслей и опять прикрывал глаза или поворачивался в другую сторону, делая вид, что ему нет ни до кого дела.

Ноги в тренировочных штанах потели и чесались. Мати вылезал из своей ложбинки и долго шел вдоль моря лесом, пока за спиной не оставались большой пляж и кусок побережья, где загорали иссохшие от солнца коричневые голые мужчины. Там он пересекал дюнную полосу и, обдирая ноги об острую осоку, бежал к морю. Сбрасывал с себя штаны и окунался, а потом долго сидел на мокром песке и смотрел, как море пенистым языком облизывает его голые ноги.

Интересно, что сейчас делает Томас? Мати всего один раз видел его на побережье. Томас стоял в тени сосен недалеко от «Анкура», как будто оказался здесь случайно и не хотел привлекать к себе внимания. Мати он, кажется, не заметил, и, пока тот выкарабкивался из своей ямы, он уже исчез. Если раньше брат существовал, только чтобы напоминать Мати о его уродстве, то после случая с ножом он стал думать о нем. Это было странно. Ведь Мати так давно знал Томаса. Они ели одну пищу, когда были маленькие, спали в одной комнате, пока строился дом, их шпыняла мать, которую они молча ненавидели двойной ненавистью, так что думать о нем как о чем-то отдельном от себя было непривычно. Непривычно было и то, что брат, ока-

зывается, тоже думал о нем, метнув нож в десяти сантиметрах от его уха. Теперь к мыслям о Томасе примешивался страх.

Горизонт на диком пляже был чистый, русские военные суда были видны только боковым зрением. Глядя на синий горизонт, Мати знал, что, пока в Руха есть море, он будет приезжать сюда, несмотря на вонь в доме, пьяную мать и старшего брата, который валялся на диване в гостиной, развлекаясь мавританским ножиком.

Девочка с золотистыми глазами так больше никогда и не увидела девушку, с которой Томас шел тогда через приморский лес. Она повернула вслед за ними в сторону богатой улицы, но те уже исчезли из виду. Наверное, они пошли к дому черного капитана наперерез. Почему-то девочка была уверена, что они идут именно туда.

Если бы ее спросили, как выглядела эта девушка, она бы толком не смогла описать ее. Видела-то она ее только со спины. Сказала бы, что на ней была темная узкая юбка чуть выше колен и белая майка с короткими рукавами и что волосы у нее были до плеч, желтоватые вперемешку с темными прядями. И что вид у нее был не дачный, а деловой, как будто она вместе с Томасом шла к какой-то цели, оставляя за спиной море и залитые солнцем белые дюны, как будто впереди у нее было что-то поважнее этого прекрасного летнего дня с температурой воды аж до двадцати четырех градусов.

Томас тоже спешил, не отвлекаясь на разговоры, видимо, уже обо всем договорившись с незнакомкой. Один раз, переходя через Пионерскую улицу, он обернулся, но, кажется, не заметил девочку. Кивнув своей спутнице, он повернул налево в сторону богатой улицы, и, не доходя до домов, пригнулся и, как в пещеру, нырнул в густой ельник. Та что-то сказала и засмеялась, закинув голову назад, и, придерживая над головой ветки, последовала за ним. Вот и все.

Но с тех пор девочка внимательно смотрела на всех незнакомых девушек, гуляющих по Руха, пытаясь отгадать в них спутницу Томаса. Почему-то она была уверена, что сразу узнает ее, несмотря на то, что видела ее только сзади.

Теперь, проходя мимо дома черного капитана, она вглядывалась в него, ища ее следы. Белую майку на бельевой веревке, силуэт с откинутой головой в тени елок у сауны, синие лодочки на лестнице перед входной дверью, смех из открытого окна на втором этаже. Но старалась делать это как можно незаметнее, не обращая на себя внимания. Почему-то ей казалось, что она единственная в Руха, кроме Томаса, кто вообще знал о существовании девушки, и что пока так и должно быть. Она сама не понимала почему. Но дом, с тех пор как запила Эрика, хранил молчание.

Ясно было лишь одно. Теперь ее с Томасом связывала тайна. Поэтому она перестала отводить глаза в сторону, встречаясь с ним. Они по-прежнему не здоровались, но нацеливались друг на друга уже издали, и он заранее сдвигал на лоб солнечные очки, открывая ей навстречу глаза. Каждый раз, глядя на него, она молча спрашивала его об этой девушке, и каждый раз он отвечал ей непроницаемым темным взглядом, и, пройдя мимо, снова опускал очки на нос.

Скоро она поняла, что сама выдала себя, приблизившись к нему. Ведь тогда, спеша со своей спутницей по приморскому лесу, Томас наверняка не заметил ее. А теперь уже было поздно, их стало как бы трое, и от этого знания глаза его становились все темнее, как черные дыры между корнями упавшей сосны в лесу.

Иногда она замечала на себе его взгляд, еще не видя его самого, как один раз, проходя мимо дома черного капитана. Впервые за долгое время у дома что-то происходило, какое-то движение, намекающее на жизнь. В саду кто-то возился у картофельных грядок. Девочка заприметила это у платинового дома замдиректора, на углу Морской. От волнения у нее заныло в желудке. Это не могла быть капитанша. Эрику она только что видела около универмага, где та

дремала на скамейке, опустив голову на грудь. Под ногами у нее пристроилась пыльная собака со смешной квадратной мордой.

Подойдя поближе, девочка увидела толстого мальчика лет шестнадцати в зеленой майке и в длинных тренировочных штанах. Нагнувшись, он вырывал сорняки, яростно швыряя их в сторону. Он поднял голову и сказал: «Тере». Девочка тоже поздоровалась. Мати. Она давно не видела его, но он почти не изменился. Только еще больше подурнел. Ей почему-то стало жалко его, и, чтобы показать, что он ей не противен, она чуть замедлила шаг, глядя на его руки, шарящие в грядке, и вдруг увидела Томаса. Тот стоял у ельника около сауны в своей обычной позе, засунув большие пальцы в карманы джинс, и смотрел на нее. В первый раз он увидел ее раньше, чем она его, и от этого у нее опять сильно зануло в желудке. Томас стал вразвалочку приближаться к забору, как будто отгоняя или предостерегая ее.

Нечего тебе здесь делать, все равно ничего не найдешь, ни на веранде с иллюминаторами, ни в подвале, где раньше метровыми рядами стояли соленья, ни в полированном югославском склепе, ни под зеленым ковролином, а если и найдешь, то не то, что ищешь. Так что давай, двигай дальше, это мой дом, и вход тебе сюда заказан. Пока, а там посмотрим. Теперь, между прочим, твоя очередь ждать знака.

Потом Томас повернулся и так же медленно зашагал обратно. Мати, ничего не замечая, продолжал полоть картошку, но, когда девочка обернулась, он стоял, утирая пот с лица, и смотрел ей вслед.

Дом уже остался позади, но не отпускал ее, давя на нее всей своей тяжестью. Не оборачиваясь, она чувствовала, как дом вытягивается, разрастается и расплзается во все стороны, надвигаясь на нее огромной волной и подминая под себя все на своем пути: валуны, малинник, старые доски, наваленные на обочине, сосны и березы. Теперь уже она сама шла по этому огромному, бесконечному дому, где хранились сокровища, накопленные черным капитаном и его женой. Но их самих в доме уже не было. Черный капитан, которого из дачников так никто и не видел, плавал где-то в далеких морях, его жена бродила по Советской улице или отсыпалась, напрочь отключив зрение и слух, а Мати лишь изредка приезжал из Таллинна в Руха наблюдать у моря за девушками. Хозяином в доме теперь был Томас.

В этом доме пахло плесенью и еще чем-то резким, вроде рыбы, может, это была форель, навсегда въевшаяся в стены, на лицо липла паутина, ноги у девочки отяжелели, словно она шла вверх по крутой лестнице, в ушах застучало – это оказались ее собственные шаги, но теперь их стук пререзал странный звук, словно кто-то поскуливал, не в силах выдать из себя ни слова. Потом все затихло, только где-то вдалеке, в самом отдаленном углу, еще раздавались еле слышные вздохи.

Девочка побежала еще быстрее, а затем, зажав ладонями уши, ринулась вперед, не разбирая дороги. Она перевела дух, только когда за ней захлопнулась тяжелая дверь с железным якорем.

В Доме моряка второй день шла пьянка. Было воскресенье. В воздухе клубились винноводочные пары. Над лестницами звенел мат. Уже подбегая к дому, девочка видела свисающих из окон моряков. Наспех глотнув свежего воздуха, они тут же исчезали внутри, чтобы заправиться. Оттуда тоже доносились крики, ругань и самый разнообразный стук.

За неделю дачники не то чтобы привыкли к морякам, но уже более философски смотрели на происходящее. Действительно, чем было еще заниматься в выходной день молодым здоровым мужикам, приехавшим в Руха на стажировку? Директор Дома моряка и так проявил изрядную чуткость, поселив сорок моряков отдельно от дачников, на втором этаже. Правда, иногда они спяну забредали в женскую уборную на первом этаже и, выкладывая свои петухи в раковину, долго и задумчиво мочились, но за этим уже директор уследить никак не мог. В

конце концов, для чего существовала партийная организация завода, где моряки проходили стажировку?

Слух о сорока моряках всколыхнул организмы незамужней части населения Руха. В день их приезда Советскую улицу перед Домом моряка заполнили девушки в мини-юбках и с распущенными русалочьими волосами. Они медленно двигались под ручку, бросая взгляды в окна гостиницы. Дойдя до закрытого ларька, девушки поворачивали и шли обратно. Теперь окна на втором этаже облепили мужские фигуры, наблюдавшие за движением на улице. Воздух между фасадом и женскими шеренгами густел и наливался электричеством, как перед грозой. Из окна раздался и тут же смолк сиротливый свист, за которым ничего не последовало. Девушки продолжали так же медленно вышагивать, пока их не поглотил мрак и в темном воздухе не замерцали белые пятна их праздничных блузок. За их чинной, размеренной поступью стремительно созревали планы активных боевых действий. Как за месяц поймать в свои сети рыбок, курсантов мореходного рыболовного училища. Или хотя бы хорошенько развлечься, по возможности никуда не заляпавшись по женской части.

«Сорок морячков, сорок смелых морячков», – повторял про себя Томас, чувствуя, как у него улучшается настроение и в жилах опять начинает весело играть кровь, уже успевшая застыть после встречи с ракверской девицей. Он даже на какое-то время забыл про девочку с золотистыми глазами, которая повергала его в непривычное для него тревожное состояние.

Как всегда, конкретного плана у него не было. Томас считал, что все должно происходить само собой, естественным образом. Только так было возможно достичь полного слияния со своими действиями, только так все движения приобретали непрерывную и безусловную плавность, гарантирующую от ляпов. Пока все планеты двигались по своим орбитам, его космосу, в центре которого находился дом, ничего не угрожало. А значит, и он сам был в полной безопасности. Практика каждый раз доказывала его правоту. Однако все прошлые разы на его стороне еще была и удача. Но можно ли было полагаться на нее всегда?

Как раз поэтому Томасу теперь позарез были нужны условия. Сорок морячков приехали в Руха, как по заказу. Сорок морячков, заряжающих воздух Руха необходимой для Томаса животной энергией. Сорок молодых мужских тел, настраивающих женские струны в Руха на многообещающий для Томаса лад. Сорок русских морячков, выделяющих вещества, от которых даже у расплывшихся дачных матрон начинало бродить под длинными до пят юбками. Сорок одурманенных водкой тел, которые дом уже затягивал в свое гравитационное поле, создавая условия Томасу.

Он усмехнулся, наблюдая за гуляньями на Советской улице. Самые смелые девицы уже сидели в окруженном акациями скверике при Доме моряка на скамейках поближе к открытым окнам. Кажется, там шли какие-то переговоры, сопровождаемые матом и хихиканьем.

Да, условия были просто оптимальные. Сорок морячков и куча поселковых девиц, жаждавших одного и того же. Энное количество тел, помноженное на энное количество похоти, обеспечивало приличный хаос в поселке. А уж из него Томас как-нибудь сумеет извлечь нужный корень. Впереди у него был целый месяц. Томас повернулся и пошел вниз к мостику. Сегодня он мог спокойно смотреть в лицо дому.

Девочка с золотистыми глазами хотела поскорее пробежать вверх по лестнице, но не успела. Дорогу ей загородил рыжий моряк, тот самый, который слишком часто встречался ей с чайником в коридоре на первом этаже, рассыпаясь в спину всякими нежностями вроде «ласточки» и «березки». Он растопырил руки, лицо растянулось в довольной ухмылке. На всякий случай он и ноги расставил пошире, чтобы она не вздумала проскочить мимо него вдоль стенки.

– Куда спешим, красавица?

– А вам какое дело? – ответила девочка неестественно грубым голосом. Сердце у нее опять заколотилось. Куда ей теперь было бежать? За дверью с якорем ее подстерегал дом Томаса. А здесь на нее надвигались бледные, покрытые рыжей шерстью огромные ручищи. За обтянутым тельняшкой торсом глаза девочки уперлись в закрытую дверь прямо напротив входа, туда, где обычно сидел директор или дежурная.

– А тетя Шура сегодня отдыхает, – сообщил моряк радостным тоном, проследив за ее взглядом.

– Молодой человек, пожалуйста, вы не могли бы пропустить меня? – вежливо, как ее учила мама, попросила девочка.

– Ой, а мы на «вы», культурные, значит, – еще больше обрадовался моряк. – Уважаю таких. А я за тобой давно слежу, между прочим, миль пардон.

– Меня мама ждет. – Девочка сделала вид, что не расслышала его слов.

– Ты че, целка, что ли? – удивился моряк. – Да ты не бойсь, я счас корешей попрошу удалиться, мы с тобой водочки тяпнем и того, ты и глазом не успеешь моргнуть...

– Володя, Володя! – раздался женский голос со второго этажа. По лестнице застучали каблук. – Ты куда смылся?

Задрав голову, Володя ругнулся, но рук не опустил. Тогда девочка, согнувшись в три погибели, перескочила через ступеньки и прошмыгнула на свободу через спасательный круг широко расставленных моряцких ног.

Валя выпрыгнула из автобуса и огляделась. Знойная пустая площадь с расплывающимся от жары, залатанным асфальтом. В глубине невысокое здание из красного обсыпавшегося кирпича. Под навесом скамейки с алкоголиками. Напротив серый двухэтажный дом с магазином на первом этаже.

«Ну и дыра», – подумала Валя. И как ее сюда занесло? Торчать здесь придется битый час. Автобус в Мересалу придет только в три, сказал шофер.

Она уже пожалела, что не поехала с лейтенантиком на «жигулях», но потом вспомнила, как он, целуясь, больно впивался в ее губы, и сожаление сразу улетучилось. Да и «жигули» были не его, а друга, но все равно с ветерком и комфортнее, чем в этом затхлом автобусе. Здесь даже присесть было негде. Не рядом же с этими алкашами. Валя пересекла площадь и увидела под тополями пустые рыночные ряды. Она вскарабкалась на прилавок и стала ждать.

Если бы она утром не послала лейтенантика на три буквы, уже давно была бы у подруги в Мересалу, в пансионате, где отдыхали классные ребята из Москвы. С другой стороны, не тащиться же ей было туда с лейтенантиком. Он бы ей там весь кайф испортил. Валя потрогала губы. Педераст несчастный. Лейтенантик уже в подъезде накинулся на нее и стал совать ей пальцы под юбку. Вот деревня, хоть и из Ленинграда. И что отец его так любит, прямо мечтает, чтобы она замуж за него вышла, военную династию продолжать. Уроды они все, эти военные. Интересно, лейтенантик сразу побежал докладывать отцу, что она смылась, или пошел сначала раны зализывать? Она вспомнила, какое у него было красное злое лицо и как он потом заюлил и заканючил, испугался, что больше не даст, кретин. Но и она дура, села со злости не в тот автобус и теперь тут мух давит, пока Катя с москвичами развлекается. С досады Валя соскочила с прилавка и прошлась к автостанции и обратно. Просто так, чтобы стряхнуть злость. На площади по-прежнему ни души. У магазина прочитала объявление про стеклотару, которую здесь временно не принимали. Потом прошла вдоль фасада до крыльца на углу и дернула деревянную ресторанную дверь. Закрыто. Блин, еще даже двух часов нет. И жара такая, что сохнуть можно.

Тут она услышала журчание. Валя обогнула угол и очутилась на зеленом склоне, под которым текла речка. Она спустилась и увидела сад со старыми раскидистыми яблонями. И никакого забора. От сада веяло прохладой и вечностью, которая вмиг вобрала в себя лейте-

нантика вместе с Катькой и ее классными москвичами. Злость как рукой сняло, и Валя вдруг вспомнила детскую книжку про мальчика, который проснулся однажды утром и обнаружил, что все люди исчезли и он остался один на всем свете. Но Валя была не одна, в глубине сада кто-то качался в гамаке. Пока она, еще на этом берегу, напряженно вглядывалась в зеленый сад, с гамака соскочил мальчик и медленно пошел в ее сторону. На нем были американские джинсы, белая майка, а между большим и указательным пальцем зажата сигарета. Он был такой красивый, что она опешила.

– Тере, – сказал мальчик и помахал ей рукой, приглашая в сад.

– Тере, – ответила она, сожалея, что плохо говорит по-эстонски, нагнулась и стала снимать сандалии.

Стояла такая жара, что даже мальчики и девочки в «Анкуре» расплзлись по углам и плавались там, как сонные рыбы, не в силах прикоснуться друг к другу. День сегодня был не самый удачный. То ли всех сморила жара, то ли мамыши решили не раскошелиться, но девушки в «Анкур» почти не шли, за исключением парочки не самых привлекательных. Мати и сам чуть не заснул в своей ложбинке, но испугался, что вдруг пропустит девочку с золотистыми глазами, и несколько раз больно ущипнул себя за руку. Она еще ни разу не прошла мимо его наблюдательного пункта.

Мати так мечтал увидеть ее в купальнике, что не выдержал и изменил своей привычке. Впав в отчаяние, что до отъезда ему так и не удастся вплыть в ее полуголоое, теплое тело, а будущим летом она может уже не приехать, он решил пойти искать ее по пляжу.

Он шел, опустив голову, как будто потерял что-то в песке, чтобы никто не заподозрил его.

Все побережье было усыпано телами, некоторые лениво приподнимались, оглядывая его, но девочки с золотистыми глазами пока нигде не было видно. Он опять вспомнил ее вопросительный взгляд, когда она замедлила шаг, проходя мимо их дома. Вдруг она нахмурилась, но не из-за его уродства, она была не такая, а из-за Томаса, который внезапно появился в саду, и быстро пошла дальше, а потом побежала. Между ними явно что-то происходило. При мысли об этом у него захватило дух и он подумал, что ищет девочку не для себя. Ему нужно было обязательно предупредить ее, чтобы она не связывалась с Томасом. Поняв это, он успокоился. Теперь ему было не в чем себя подозревать и он смелее пошел искать ее дальше.

Девочка лежала на животе, положив голову на скрещенные руки. Она, видимо, только что вышла из воды, на теле у нее блестели капельки, и Мати еле удержался, чтобы не нагнуться и не слизнуть море с острых плеч и нежной ложбинки между лопатками, а потом пройти языком по спине, приплюснутым ляжкам, вытянутым загорелым голеним и припасть ртом к чуть сморщенным розовым пяткам. У ее головы лежала открытая книжка, а рядом сидела смуглая женщина в панаме, низко надвинутой на лоб, и читала журнал. Мати опять застыдил себя своих мыслей, своего неуклюжего тела и толстых ног, хотя он был в длинных штанах и никто не обращал на него никакого внимания. Он посмотрел по сторонам и, удостоверившись, что Томаса здесь нет, расслабился. Значит, с его девочкой пока не могло ничего случиться, она просто лежала и загорала здесь рядом с мамой.

Хотя он весь взмок, он так и не решился снять штаны, а тащиться на дикий пляж ему сейчас было неохота. Он еще немного постоял у кромки, чувствуя себя все более неловко без своей ложбины, где он мог смотреть на девушек, не привлекая внимания. На секунду ему стало ужасно обидно, что вот, он нашел свою девочку, но даже не может рассмотреть ее как следует, а не то чтобы переместиться в нее и покачаться в ее легких волнах. Ему расхотелось идти обратно на свое место под соснами, и он ушел раньше обычного.

В дом он заходить не стал. В гостиной ему больше не нравилось, особенно с тех пор, как брат метнул в дверь нож, хотя она и была богато обставлена, почти так же шикарно, как у дяди Калле, и Томас в последнее время держал ее в образцовом порядке. Есть ему не хотелось, да на

кухне толком ничего и не было, кроме холодной картошки и хлеба. А в его комнате наверняка еще отсыпалась мать, которая опять привалила к нему ночью.

Мати перетащил стул в тень и сел на него. Закрыв глаза, он сразу увидел перед собой море и свою девочку, плескавшуюся в волнах. Горизонт был чистый, без серых военных судов, как будто в Руха не было никакого завода, и теперь девочка плыла к самому краю моря, оставляя за собой пляж с дачниками, мать с журналом, приморский лес, «Анкур», всю Руха с ее старыми домами и кладбищем с белой церквушкой на Спокойной улице и с вознесенными особняками на богатой, с бараками и с безжизненной пылью Советской улицы, и с Домом моряка, где сорок моряков пировали с поселковыми девицами, а главное – девочка все дальше уплывала от Томаса и их дома. Ему было жаль отпускать ее, навсегда, быть может, но ему все равно хотелось, чтобы она уплыла как можно дальше, к этому искрящемуся горизонту, где ее никогда не догонит Томас.

Сбоку повеяло ветерком, и Мати открыл глаза. Мимо бесшумно прошел Томас.

Он появился со стороны сауны. Что он там, интересно, делал? Когда Мати пришел домой, Томаса нигде не было видно, а теперь тот преспокойно шагал к дому, на ходу снимая майку и отряхивая джинсы. Мати повернул голову в сторону сауны. За ней начинался темный густой ельник, где они играли в прятки, когда были маленькие. С тех пор Мати туда не ходил, да и что там было делать? Только колоться об острые иголки да спотыкаться о корни и пни. Мати не любил лес.

– Ты чего, стирать будешь? – крикнул он в спину брата.

– А тебе-то что?

– А то, что не забудь и мои носки постирать.

Томас развернулся и медленно направился к Мати, похлопывая майкой по колену. Мати увидел, что она была в темных разводах. Лицо и голое тело брата блестели от пота, как будто он дрова рубил.

– Тебе что, вставить некуда?

Мати сделал вид, что не расслышал. Он уже пожалел, что стал задирать брата, и молча ждал, когда тот уйдет. Но Томас и не думал уходить, наоборот, лицо у него внезапно оживилось.

– Мне тут Марика жаловалась, что у «Анкура» какой-то урод сидит и девишек пугает. Ты случайно не знаешь, кто это?

Мати опять промолчал, чувствуя, как заливается краской. Вдруг брат нагнулся и похлопал его по колену.

– Да ты не расстраивайся, ну некуда вставить, ну и что, подумаешь, это не главное. Главное – это... – Тут Томас махнул майкой в сторону дома. – А помнишь, мы с тобой обезьянку хотели, а мать запретила. Она спит?

Мати пожал плечами.

– Не знаю, не смотрел.

Томас подумал о чем-то, глядя на дом, и спросил:

– Ты когда в Таллинн? Уже? Так быстро? Оставайся еще, вон какая погода, чего тебе в городе торчать в такую жару? А Марике я скажу, чтобы не ныла. Какое ее дело, кто где сидит и на что смотрит. Да, вчера в Доме моряка чуть кого-то не зарезали, не слышал? Из-за какой-то девицы. Ну ладно, отдыхай.

Теперь рыжий Володя подчеркнуто вежливо здоровался с девочкой. Хотя при этом он в упор смотрел на нее светлыми выпуклыми глазами, в его взгляде, разбавляя наглость, появилась легкая сумятица, которую он пытался скрыть, видимо, сам не понимая ее происхождения. Однажды она встретила его по дороге в библиотеку и он, вежливо поздоровавшись, остановился, а потом вдруг пошел за ней, предлагая как-нибудь вечером прогуляться у моря. В

койку он ее уже не звал. Не оборачиваясь, девочка ускорила шаг, радуясь, что навстречу шла компания знакомых москвичей.

Потом он как-то подкараулил ее при выходе и опять стал что-то мямлить о море и луне, но тут из дома вышла мама, с которой он тоже вежливо поздоровался, после чего быстро ретировался. Мама многозначительно посмотрела на девочку и сказала, что и среди моряков попадаются хорошо воспитанные молодые люди.

Стояли жаркие дни, в точности как предсказал народный мудрец из Южной Эстонии по цвету рябины прошлой осенью. Девочка с мамой договорились встретиться с москвичами за мостиком, чтобы вместе пойти на пляж. Когда они поворачивали налево у закрытого ларька, по Советской улице проехал милицейский уазик.

В последний раз милиция приезжала в Руха, когда загуляли несколько девушек из заводских барачков за Советской улицей. Одну из них, кажется, звали Люда. Никто точно не знал, нашлись они в конце концов или нет. Раньше-то дачников в курсе держала Эрика, а теперь от нее ни слова было не добиться, не то что какой-то вразумительной информации, да и разило от нее за километр, так что и не подойти.

Опять проехал уазик, теперь в другую сторону. Мама пожала плечами. И кого они здесь собираются ловить? Поселковых девушек, которые крутились около Дома моряка или сидели на скамейках в скверике, поджидая моряков? Девушки были, конечно, низкого пошиба, ни стыда ни гордости, сами бросались на парней, но за это даже у нас пока еще не сажают.

Встретившись за мостиком с москвичами, мама стала дальше обсуждать с ними ситуацию в Руха. С приездом сорока моряков здесь стало намного беспокойнее. Мало того, что они устраивали наверху попойки с поножовщиной и писали в рукомойник, мало того, что местные девушки ночью сидели под окнами и вокруг дома стоял свист, визг и мат, они, кстати, и в окно к морячкам залезали на второй этаж, так те парни, которые не нашли себе подружку или им было мало одной, в подпитии бродили по всему поселку, приставая к порядочным девушкам. Тут один раз ленинградские в приморский лес чернику пошли собирать и наткнулись на парочку, которая, ну сами знаете что... мерзость какая. Вот уже до чего дошли. Так что вечером нашим девочкам надо быть поосторожнее и не выходить одним на улицу, мало ли что.

Томас опять куда-то исчез, матери тоже не было. Мати вышел из дома, дожевывая картошку, в руке у него болталась бутылка пепси. Он приставил горлышко к краю перил и уже собирался двинуть ребром ладони по крышке, как вдруг услышал шум мотора. По улице медленно ехал милицейский уазик. Подъехав к забору, машина остановилась, и из нее вышли двое. Они не смотрели на Мати, но, прислонившись к калитке, что-то обсуждали, показывая на дом. А потом, не спросив разрешения, толкнули калитку, вошли в сад и направились к нему.

– Когу пьем? – спросил старший, невысокий полноватый мужчина с бархатистыми темными глазами на одутловатом лице. – Хорошо живем.

– Это пепси, – ответил Мати, держа бутылку за горлышко.

– Ну, значит, даже еще лучше живем, почти как в братской Финляндии, правда, товарищ лейтенант? – подмигнул милиционер своему коллеге и опять перевел взгляд на Мати. – А ты молодец, что по-русски говоришь. Все понимаешь?

Мати неопределенно хмыкнул.

– Да все, все, я ж по глазам вижу. Умные, как у собаки.

Майор обвел глазами сад и посмотрел на дом.

– Так это и есть дом черного капитана? Да, не хило. Брат-то дома?

Мати покачал головой.

– А где он и когда будет, тоже не знаешь? Ну ладно, раз его нет, мы с тобой побалакаем. Не зря ж мы сюда ехали.

Лейтенант уже успел пройтись по всему саду и теперь заглядывал в сауну.

– Там ничего не видать, товарищ майор.

– А ты в дом глянь, Игорек, пока мы тут потолкуем. Ты мне вот что скажи, Мати. Тебя же Мати зовут? Ты в четверг что делал? Как это ничего? Так не бывает. Ну давай еще раз. Что ты делал в четверг между часом и двумя? Думай, думай, парень. Сидел на пляже? Один? Без друзей? И что ты там делал? Просто сидел? Бывает, бывает. А где твои часы, Мати? В комнате? Значит, ты без часов живешь, вот счастливчик. Откуда же ты тогда знаешь, что сидел на пляже между часом и двумя, а не между одиннадцатью или двенадцатью или, например, между тремя и четырьмя? Тоже просто так? Почему я это спрашиваю? Скоро узнаешь, а пока отвечай на вопросы. Значит, тебя там видели? Кто? Твои друзья? Ты ведь только что сказал, что у тебя нет друзей. А вот врать некрасиво, Мати, очень некрасиво. Советский человек никогда не врет. Ты же советский человек, а значит, не имеешь права врать. Согласен? Как это нет? А, так ты не врешь, говоришь? А как зовут твоих друзей? Марика, Калев, Андрес, Эпп. Ты, получается, только с эстонцами дружишь? Ну ладно, ладно... А теперь смотри сюда хорошенько. Ты эту девушку видел, когда на пляже сидел? Нет? Точно знаешь? А, может, ты ее тогда где-нибудь в другом месте видел? Тоже нет? Как же это так, Мати? Ты нас что, за дураков считаешь? Ну что там, Игорек? Все чисто? Ничего не нашел? Да, они порядок любят. А теперь слушай дальше, Мати. Я вижу, ты парень упрямый и себе на уме, да и приврать любишь, а вот мозгами шевелить не очень. Поэтому мы с тобой сейчас поедem кой-куда и поговорим, как советский человек с советским человеком, как мужик с мужиком, может, ты тогда кое-что и вспомнишь, а мы тебе поможем, ну, пошли, пошли, нечего артачиться, и бутылку свою можешь с собой взять, а то что добру пропадать, мы что, не люди, что ли, не понимаем...

Оказывается, милиция искала какую-то девушку, которая приехала из Таллинна. Она собиралась дальше поехать к подружке в Мересалу, но та ее так и не дождалась. На трехчасовом автобусе Руха – Мересалу ее никто не видел. И около трех на автостанции ее тоже не было, сказал шофер. Его автобус как раз стоял там по расписанию десять минут. Значит, она осталась в Руха. Но здесь ее тоже не видели. В обеденное время на автостанции никого не было, ресторан не работал, а магазин был закрыт на обед. Алкоголик, который сидел на скамейке под навесом, все это время спал. Он не просыхал уже третьи сутки, так что милиция так ничего и не добилась от него.

Милиция уже несколько раз приезжала в Руха и в первый раз забрала с собой четырех моряков. А во второй раз они поехали к дому черного капитана и увезли с собой Мати. Дачники раскололись на два лагеря. Одни говорили, что в это дело были замешаны моряки, которые устроили бордель в Руха, а Мати был хороший мальчик и учился в Таллинне на автослесаря и что здесь точно какая-то ошибка. А другие утверждали, что просто так у нас никого не забирают, но все-таки виноват не один Мати, но и Эрика, которая воспитала чудовище, и что хватит черному капитану шататься по морям, пора наводить порядок в доме. И вообще, зачем морякам ввязываться в такое дело, у них и так отбою не было от местных девиц. Оба лагеря сходились на том, что эта девушка наверняка тоже загуляла, как и те поселковые, которых, кстати, милиция толком и не искала.

Дни тянулись, но девушку так и не нашли. Потом поползли слухи, что двух моряков выпустили, а вместо них забрали другого, то ли грузина, то ли армянина. Теперь на кухне дачники рассказывали разные истории про порядочных девушек из Москвы и Ленинграда, за которыми на кавказских курортах охотились местные джигиты. А кто-то, подливая масло в огонь, непременно начинал возражать, что эти ваши порядочные девушки и сами были не прочь развлечься с горячими местными парнями, и споры разгорались еще жарче.

Про Мати пока ничего не было слышно. Говорили только, что к Эрике на красных «жигулях» приезжал брат из Таллинна и что черный капитан, который находился в Индии, собирался

досрочно вернуться домой. А еще ходили слухи, что пропавшая девушка – дочь высокопоставленного военного, вот милиция и бегаёт теперь, высунув язык.

Девочке с золотистыми глазами было жалко Мати с его толстыми ногами, которые он так старательно прятал в адидасовых штанах. Этим летом она видела его всего пару раз, у картофельных грядок и на пляже, когда он крутился вокруг нее, а она, чтобы не смущать его, делала вид, что загорает. К Мати совсем не подходило слово «чудовище». Для этого у него были слишком мягкие глаза, которые странно смотрелись на его некрасивом лице. А еще она думала о девушке с крашеными волосами и в белой майке, которую она видела с Томасом в приморском лесу. Ее никто не искал, про нее никто не спрашивал, как будто ее никогда и не было. Но если она была не местная, значит, она откуда-то приехала. А может, она правда просто вернулась домой и девочка зря так волновалась? Ей было не у кого спросить, ведь никто не видел ее тогда в лесу, кроме Томаса, с которым она шла в сторону его дома. К тому же тогда она выдала бы тайну, связывавшую ее с Томасом.

Когда Томас вдруг поздоровался с ней около универмага, она ответила на его приветствие и быстро прошла мимо. Уже вечером она поняла, что это был знак. Ему было что-то нужно от нее. Почему-то она была уверена, что теперь была ее очередь действовать, что Томас больше не проявит инициативы. До отъезда ей нужно было во что бы то ни стало встретиться с ним, чтобы спросить у него про девушку в белой майке и сказать, что она не верит, что его брат – чудовище.

Сегодня по Руха опять прошли слухи, что всех моряков, кроме грузина или армянина, выпустили за недостаточностью улик, но пока в Руха их еще не видели, зато несколько девиц всё еще ходили по поселку с зареванными глазами. Дежурная тетя Шура повторяла, что ничего не знает и что со всеми вопросами обращайтесь к директору, который уже неделю не появлялся в Доме моряка.

Рыжая учительница сидела на чемоданах и говорила, что впервые уезжает из Руха не с сожалением, а с облегчением. Пока все, поддакивая ей, в очередной раз обсуждали сложившуюся ситуацию, девочка выскользнула из кухни и вышла на улицу.

Перейдя через мостик, она почувствовала, что у нее сильно забило сердце, как в тот самый раз, когда она в новой юбке с воланом искала Томаса. Ей казалось, будто она уже переступила порог дома. Стараясь не вспоминать, как совсем недавно она бежала оттуда, она поднялась по горке и зашла в приморский лес. Навстречу ей попались несколько обгоревших дачников с набитыми пляжными сумками.

Вот уже между соснами заблестело море. Девочка остановилась, пытаясь разглядеть зыбкий горизонт и чувствуя, как у нее от страха и нежности сжимается сердце. Потом она повернула налево и через Пионерскую вышла на богатую улицу. Не глядя по сторонам, она пересекла Морскую и быстро дошла до дома черного капитана.

Толкнула калитку и впервые очутилась в саду, мимо которого проходила столько раз. Что-то сразу поразило ее, и, уже подходя к дому, она поняла, что это была тишина. Будто в саду замерли все звуки, еще секунду назад заполнявшие Руха. За калиткой остались и ветер, и стрекот кузнечиков, и вечно визгливая соседская пила, и даже жужжание ос, наводнивших Руха этим августом. Обойдя дом и чуть не споткнувшись о лопату, прислоненную к стене напротив сауны, она подошла к веранде и, встав на цыпочки, заглянула в иллюминатор. Внутри было тихо и темно, как на морском дне.

Огибая угол веранды, девочка сильно двинула кулаком по стене, придавая себе смелости и отвлекаясь от страха болью, и, быстро перескочив через ступеньки на крыльцо, чтобы не передумать и не убежать, открыла дверь.

Войдя в дом, она огляделась. Квадратный холл с тремя закрытыми дверями и лестница, ведущая наверх. Раздумывая, куда ей идти, она снова поразилась странной тишине и, подумав,

решила, что, наверное, в доме нет часов или они остановились, потому что здесь умерло время. Она все еще топталась в нерешительности, когда услышала шаги.

– Тере, – сказал Томас, сбегая с лестницы, будто ждал ее. Увидев, что она вздрогнула, он усмехнулся. – Да ты не бойся. Я тебе сейчас дом покажу.

Пройдя совсем рядом, почти прикасаясь к ней, он открыл первую дверь.

– Здесь кухня. Видишь, какие красивые стены. Финский кафель. Нравится?

В его голосе не было ни тени хвастовства или гордости. Потом он легонько подхватил ее под локоть и подвел ко второй двери.

– А тут наш знаменитый голубой унитаз. Смотри и любуйся. Он один такой во всей Руха. Уж мать старалась. А теперь пошли наверх.

Она остановилась перед третьей дверью, вопросительно взглянув на него, но он только махнул рукой.

– Веранда, ерунда, ничего особенного. Один хлам.

Когда девочка осторожно поднялась за ним по лестнице, Томас распахнул перед ней следующую дверь.

– Это спальня из Югославии, еще совсем новая, во как блестит. Орех. А зеркало какое. А теперь идем в гостиную, там тоже красота, югославская стенка, и ковролин из Финляндии, и еще польские пуфики, мать все по цвету подбирала.

В гостиной Томас подвел ее к серванту. Не открывая стеклянных дверок, он сначала показал ей набор из чешского хрусталя, а потом кивнул на диван.

– Садись. Выпить хочешь?

Не дожидаясь ответа, он достал из серванта бутылку с блестящей яркой этикеткой и тряхнул ее.

– «Чинзано». Любишь?

– Не знаю, не пила.

Девочка крепко сдвинула колени и посмотрела на Томаса.

– Та девушка в белой майке. Где она?

– Сначала надо выпить.

Томас разлил «Чинзано» в две рюмки, сунул ей одну в руку и уселся рядом.

– За нашу юность и за светлое будущее без тунеядцев, дармоедов и пессимистов, как говорит Кульбюс.

«Чинзано» было горьким и противным, но девочка храбро выпила полрюмки.

– А теперь за нас с тобой. Нет, серьезно. Ты молодец, что пришла. Домой когда едешь? Завтра? Правильно, здесь уже нечего делать. Скоро дожди пойдут. Да у вас еще и моряки буянят. А у меня для тебя что-то есть. Потом дам. А та девушка... Ты за нее не волнуйся. Такие, как она, только землю загаживают, а значит, и наше светлое будущее. Она, кстати, получила, что хотела.

– Где она, Томас?

– Ты думаешь, ее кто-то будет искать? Да кому она нужна. Загуляла, вот и все. Такая за бутылку и за это самое на край света пойдет, только пальцем помани.

– А Мати?

– Мати – это да. Вляпался. Но ты за него не переживай. У дяди Калле связи ого-го. На самом высшем уровне. У него знаешь, кто машины чинит? Так что, как только найдут Мати замену, так сразу и выпустят.

Томас встал и вдруг, резко нагнувшись, вытащил из-под дивана пакет и положил ей его на колени.

– Это тебе на хранение. Мог бы, конечно, и в лесу закопать, но так веселее. Да и как-то скучно одному. Считай, что это тайна дома черного капитана. Ты же ее не выдашь, правда?

Теперь он, улыбаясь, смотрел ей прямо в глаза.

– Правда?

Его глаза переливались, как море ночью, когда они купались с москвичами со Спокойной улицы, а их вылавливали пограничники с автоматами, чтобы они ненароком не переплыли в Финляндию. Потом Томас, как бы случайно, тихонько провел пальцами по ее ноге и обвел взглядом гостиную.

– Раньше ненавидел этот дом, а теперь... не знаю уже. Не то чтобы привык, а как-то...

Он усмехнулся и, запрокинув голову, влил себе в рот остатки «Чинзано». Когда девочка встала, держа в руках продолговатый предмет, завернутый в тряпку, он опять вышел и вернулся с целлофановым пакетом.

– Клади сюда, так надежнее. И иди скорее.

Мама так зачиталась, что и не заметила ее прихода. Но девочка на всякий случай прошла подальше от нее, чтобы та не почувствовала запаха алкоголя. Она засунула пакет в свою сумку и задвинула ее обратно под кровать, подальше в угол. Девочка знала, что будет хорошо хранить его, пока не разворачивая, – не потому, что боялась, но затем, чтобы не выдать Томаса, увидев содержимое. Вдруг она не выдержит. А ему нужно было жить дальше. И ей. Им всем нужно было жить дальше. Несмотря ни на что – ни на страшный дом черного капитана, ни на вечно пьяную капитаншу, ни на несчастного Мати, влипнувшего в такое дерьмо, ни на девушек с крашеными волосами, готовых за бутылку отдаться первому встречному, ни на безжизненную пыль Советской улицы, по которой русские в открытых гробах везли своих мертвых под гнусавое дребезжание духового оркестра, ни на свинцовые силуэты русских военных судов, закрывших искрящийся горизонт.

Девочка подошла к окну. На березе уже мелькали желтые листья. Лето кончалось. Завтра они тоже уедут из Руха.

Книга 2

Нежное сердце

*«Блеск звезды, в которую переходит наша душа после смерти,
состоит из блеска глаз съеденных нами людей».*
Древнее дикарское поверье

Еще не зима

В ноябре город темнел уже к четверем. С разбухших от дождей деревьев капало, лютеранские шпили вонзались в скучное небо, серый воздух смазывал лица прохожих, а в мутных волнах Финского залива тонула на глазах великая альтернативная мечта слить наконец в землю сексуальной свободы и самой качественной в мире сантехники.

Упали на морозы. Прошлой зимой, например, залив замерз до уже упомянутых обетованных берегов, образовав дорогу жизни, по интенсивности чайний не уступавшей той самой, исторической, на Ладожском озере, и несколько юных смельчаков решили реализовать свои дерзкие мечты. Где-то на седьмом километре, полузамерзших, их перехватили пограничники.

А пока по заливу три раза в неделю плавал белый корабль, переправляя туда и обратно жителей тех, других, счастливых берегов, с карманами, набитыми жевательной резинкой, которую они раздавали местным детям, караулившим их у порта и гостиниц. Нажевавшись, дети, раздувая щеки, пускали из жвачки пузыри, все еще пахнувшие клубникой, бананами и счастьем.

В ноябре в городе резко повышалась преступность. В вечерней газете на жителей города смотрели уменьшенные до размера марки черно-белые лица жертв и предполагаемых преступников. По городу ползли слухи о пропавших детях. Ноябрь лишь наступил, а все уже вздохнули о двухлетней девочке, чье поруганное тельце было найдено в подвале новостройки у черты города. В последний раз ее видели в троллейбусе, плачущей на коленях у мужчины в низко надвинутой на лоб кепке. Он гладил девочку по шапочке и все повторял, что сейчас они приедут к маме. Когда двери троллейбуса распахнулись на безлюдной остановке, мужчина неожиданно сиганул в темноту с девочкой на руках. И все. Вот тебе и красная шапочка. А мать куда смотрела? Девочка-то исчезла, дожидаясь ее у магазина. Та, конечно, в очереди стояла за югославскими сапогами. Их как раз выкинули к праздникам в обувном магазине у площади Победы. Мужчина, кстати, говорил по-эстонски без акцента. Девочка тоже была эстонка. Так что национальные мотивы здесь были ни при чем.

Все сходились на том, что в городе происходило что-то чрезвычайное. Как будто какая-то неведомая сила решила смешать карты, по которым жители города годами играли свою жизнь.

Эта сила переместила и привычное место преступления. Если издавна детей находили в лесу за чертой города, то в этом году убийства стали происходить в городских подвалах. Словно город не хотел отпускать детей из-под своей власти, расправляясь с ними в черном, провонявшем кошками и страхом подполье, которое все расширяло свои владения, соперничая с бледным балтийским небом.

Она же, дьявольская сила, и подняла руку на двухлетнего ребенка, почти младенца. После этого библейского избиения убийства и изнасилования детей постарше уже стали казаться вполне логичным явлением.

Когда в подвале собственного дома нашли восьмилетнюю Ирочку Кулагину, в городе, конечно, опять ужаснулись. Но уже как неотвратимому факту жизни, от которого нет и не будет спасения.

Итак, ее обнаружили задушенной в подвале собственного дома. Просто идеальное место для преступления. А что еще делать в бесхозных темных подвалах, куда может зайти первый встречный? Петь песни? Организовывать тайные сходки? Изобретать новую религию? Убийцу, правда, на этот раз нашли почти сразу. Уже через несколько дней он пришел в этот же двор, подошел к играющим детям, долго и ласково смотрел на них, а потом поманил к себе одну девочку. Она покорно пошла за ним, как собачка, они спустились в подвал, и он уже стал стаскивать с нее штаны, как она громко разревалась. Ее услышал сосед с первого этажа. Зажимая нос, он побежал вниз и увидел солидного мужчину в длинном пальто и в шляпе, стоявшего на коленях перед полураздетой девочкой. Тут же рядом к стенке аккуратно был приставлен его портфель. Неведомая сила обрела лицо и тело, но осталась безгласной. Мужчина оказался глухонемым, а может, притворялся.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.